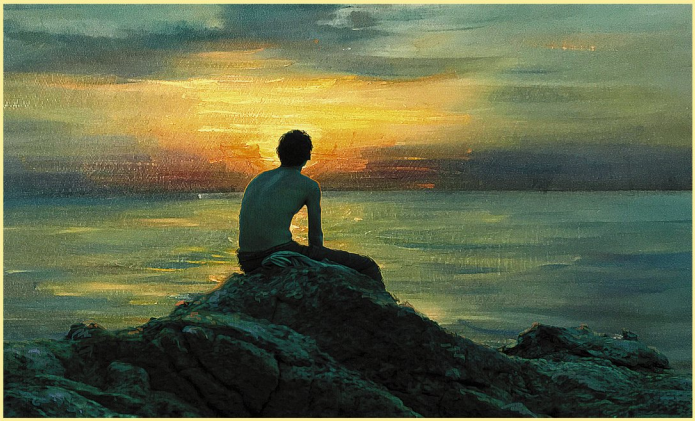


АЛЬБЕР КАМЮ

ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Первый человек
Альбер Камю

Аннотация
Альбер Камю. Первый человек
От переводчика
Катрин Камю. К читателю
I. Поиски отца
  Сен-Бриё
  3. Сен-Бриё и Малан (Ж. Г.)
  4. Детские игры
  5. Отец. Его смерть. Война. Теракт
  6. Семья
    Этьен
  6-бис. Школа
  7. Мондови: колонизация и отец
Часть вторая. Сын, или Первый человек
  1. Лицей
    Курятник. Как резали курицу
    Четверги и каникулы
  2. Неведомый самому себе
Приложения
  Листок I
  Листок II
  Листок III

Листок IV
Листок V
Первый человек. (Заметки и планы)
Два письма
Информация от издательства

Аннотация

4 января 1960 года Альбер Камю погиб в автокатастрофе. Среди обломков автомобиля была найдена его дорожная сумка и в ней – черновая версия романа «Первый человек». Через тридцать четыре года после смерти автора книга, подготовленная дочерью писателя Катрин Камю, увидела свет.

Роман, по сути автобиографичный, посвящается матери Камю: «Тебе, которая никогда не сможет прочесть эту книгу», – она действительно не смогла бы прочесть его, потому что была неграмотной.

Герой романа, Жак Кормери, стремясь воскресить воспоминания об отце, погибшем во время Первой мировой войны, приезжает в Алжир, где в нищете прошло его детство, которое он смог пережить благодаря любви молчаливой и неграмотной матери и учителю, изменившему его взгляд на мир. Эта история дает нам представление о том, как сформировалась личность Камю и его взгляды, и ключ к пониманию тем, лежащих в основе его творчества.

Альбер Камю
Первый человек

АЛЬБЕР КАМЮ

ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК



ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА

Серия «Эксклюзивная классика»

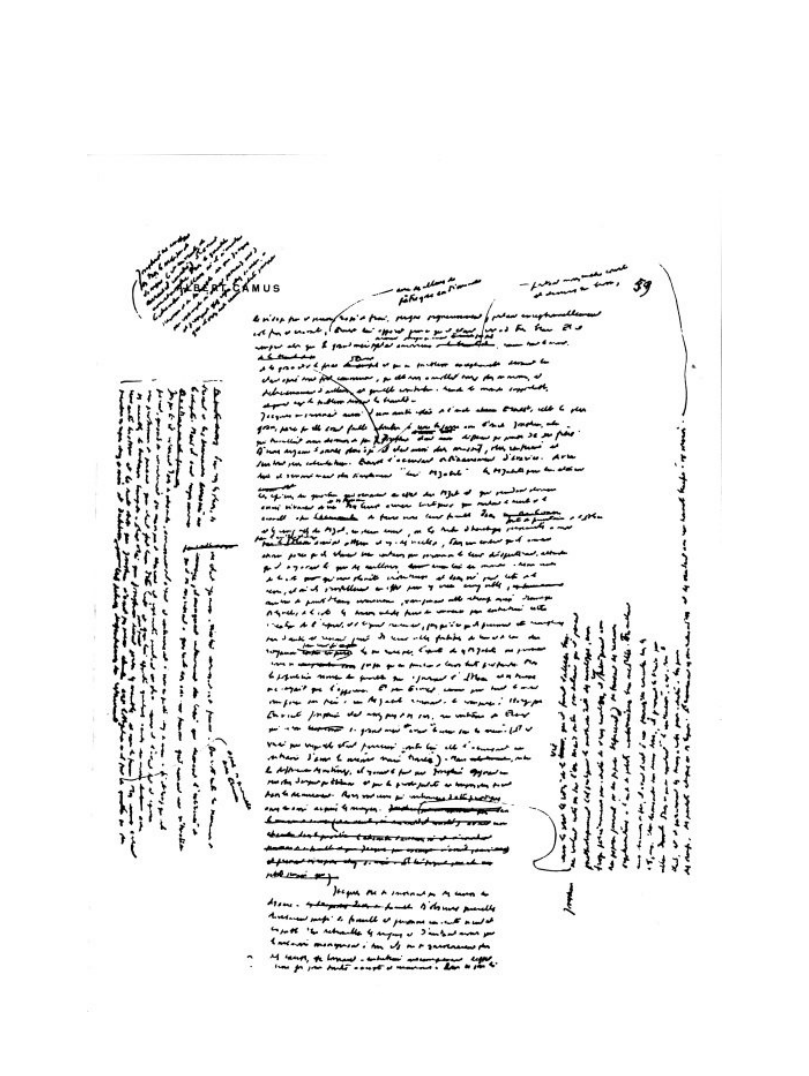
Albert Camus
LE PREMIER HOMME

Перевод с французского *И.И. Кузнецовой*

Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard.

© Editions Gallimard, Paris, 1994
© Перевод. И. И. Кузнецова, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2021

ALBERT CAMUS



От переводчика

Четвертого января 1960 года, по дороге из Прованса в Париж, на скользком от зимнего дождя шоссе врезался в дерево и разбился спортивный автомобиль. За рулем сидел Мишель Галлимар, племянник знаменитого издателя Гастона Галлимара, рядом — Альбер Камю. Камю погиб сразу. Мишель Галлимар скончался через несколько дней к больнице, его жена и дочь, которых выбросило из машины, чудом уцелели. Когда спасатели извлекли тело Камю из-под груды металла, на что им понадобилось два часа, они обнаружили у него в кармане неиспользованный железнодорожный билет: он собирался ехать в Париж поездом и только накануне изменил свои планы. Среди обломков автомобиля, разметанных более чем на сотню метров вокруг, была найдена дорожная сумка Камю и в ней черновая рукопись романа «Первый человек». Спустя много лет Катрин Камю, дочь писателя, подготовила текст к публикации. Книга вышла в апреле 1994-го, через тридцать четыре года после смерти автора.

«Камю упоминает о «Первом человеке» в сво-

их записях начиная с 1951 года и называет его романом, — говорит Катрин Камю в интервью еженедельнику «Эвенман дю жеди». — Это должен был быть роман о женщинах, о любви и об Алжире. Камю собирал материалы об алжирской войне, они были приложены к рукописи». В той же дорожной сумке лежал блокнот с планами и заметками. Судя по этим записям, роман должен был состоять из трех частей. Камю успел написать первую и, видимо, примерно половину второй. Роман посвящается матери и по сути своей автобиографичен, хотя, как явствует и из самого текста, и из заметок Камю, это «*в то же время* (курсив автора) история конца целого мира — пронизанная сожалением о годах света…». Мир, который имеет в виду Камю, это арабо-французская цивилизация в Алжире, где он родился и вырос в эпоху, когда арабы и французы еще спокойно уживались на этой земле. В какой-то момент Камю хотел назвать книгу «Адам». «По существу, каждый из нас, и я в том числе, — сказал он в 1959 году журналисту одной из итальянских газет, — это в некотором смысле первый человек, Адам своей собственной истории». Есть у этого названия и более конкретный смысл: первым человеком, оторванным от своих корней, ощущал

себя в Африке любой француз-эмигрант, даже если он, как и сам Камю, там родился.

В разговорах с друзьями Камю иногда называл будущую книгу своей «Войной и миром». По абсурдной — используя термин Камю — прихоти судьбы огромный замысел воплотился всего лишь на ста сорока четырех страницах, к тому же пролежавших под спудом треть столетия. Однако и этих страниц оказалось достаточно для ошеломляющего успеха. За две недели был распродан весь первый тираж — 125 000 экземпляров. Около двух десятков издательств из других стран запросили права на перевод. «Это книга-друг, которая теперь всегда будет с нами», — пишет Мишель Курно в еженедельнике «Нувель обсерватёр». «Во Франции сейчас возник своего рода культ Камю. Успех «Первого человека» невероятный. Мы никогда ничего подобного не видели» (Антуан де Годмар, «Либерасьон»). «Чтобы в черновике мог с такой силой проявиться талант — это уже чудо. «Первый человек» в том виде, в каком он есть, мгновенно станет классикой» (Пьер Анкель, «Эвенман дю жеди»). «Каждое неразборчивое слово, каждое многоточие будоражит наше воображение. Таков парадокс оборванных смертью книг: в большей степени, чем все остальные,

они кажутся нам живыми» (Флоранс Нуавиль, «Монд»).

Почему же этой рукописи, пусть черновой, но представляющей собой целостное повествование и принадлежащей перу нобелевского лауреата, пришлось ждать своего часа тридцать с лишним лет? После смерти Камю его друзья — поэт Рене Шар, Робер Галлимар (отец погибшего Мишеля), Роже Гренье (один из ведущих сотрудников издательства «Галлимар»), Жан Гренье (философ, в прошлом преподаватель алжирского лицея, где учился Камю; в тексте романа назван инициалами Ж.Г.) — прочли первую машинописную копию рукописи, сделанную женой Камю, Франсин, и единодушно решили, что публиковать ее не следует, ибо сырой, не правленный автором текст вряд ли принесет Камю новую славу и только даст лишние аргументы в руки его недоброжелателям. Сейчас это может вызвать удивление, особенно после триумфа книги, но тогда, в шестидесятом году, в разгар алжирской войны, иное решение могло, вероятно, оказаться губительным для последующей судьбы романа.

Отношение к войне в Алжире было среди французской левой интеллигенции однозначным и непримиримым. Североафриканских французов,

прозванных вполне красноречиво «черноногими», не жаловали в метрополии, куда они вынуждены были бежать, бросая за морем свои дома и возделанные земли. Алжир, а не Франция, постепенно стал для этих людей родиной, с трудом обретенной на чужом континенте, а потом безвозвратно потерянной. Один из временных пластов романа Камю охватывает этот драматический момент утраты: герой в поисках «своей собственной истории» приезжает из Парижа в Алжир и застает едва ли не последние дни того «царства нищеты и света», в котором прошло его детство.

В ситуации, когда общественность хором клеймила колониальную войну, посмертная публикация «Первого человека» с его ностальгией и трагическим осмыслением алжирских событий вполне могла сыграть роль красного плаща на арене корриды. Отношение Камю к этой теме было слишком сложным, чтобы укладываться в рамки политической кампании, не говоря уже о том, что его мать, несмотря на массовую эмиграцию французов из Алжира, по-прежнему оставалась там. Получая в 1957 году Нобелевскую премию, он сказал одному из журналистов: «Между справедливостью и матерью я выбираю

мать». Разумеется, это замечание не осталось без язвительных комментариев прессы, для которой Камю уже давно стал объектом довольно пристрастной критики.

Началось это с его разрыва с Сартром, с которым их связывала тесная дружба с сорок четвертого года. Ссора произошла после выхода в 1951 году философской книги Камю «Бунтующий человек», где он осудил историческую утопию Маркса, обернувшуюся политическим цинизмом Ленина и сталинским террором. Сегодня не только нам, но и французам, если только они сами не застали то время, трудно представить себе, какого мужества требовала в сверхполитизированной послевоенной Франции подобная позиция по отношению к Советскому Союзу. Если человек не причислял себя к правым — что для Камю было совершенно невозможно, — то изобличая (за пять лет до речи Хрущева на XX съезде) сталинский социализм, он как бы бросал вызов «своим», нарушал табу, рискуя не только репутацией, но и определенным местом в обществе. В молодости членство Камю в компартии ограничилось двумя годами (1935–1937). Неприятие политического насилия уводило его все дальше и дальше от бывших единомышленников, причем не только

от коммунистов, но и от той части левой интеллигенции, чьим признанным мэтром и лидером был Сартр. Сартровский выбор «грязных рук», иначе говоря, согласие запятнать себя кровью во имя будущего блага человечества, был для Камю неприемлем. Их полемика, начавшаяся в 1952 году на страницах журнала «Тан модерн», глухо продолжалась потом уже в самих произведениях обоих писателей и закончилась лишь со смертью Камю. Камю не мог простить Сартру его «ультрабольшевизм», Сартр обвинял Камю в «буржуазном мировоззрении».

Между тем иметь «буржуазное мировоззрение» считалось в Париже, гордом по сей день своими баррикадами, весьма дурным тоном. Тот, кто вешал на писателя подобный ярлык, заведомо отдавал его на растерзание прессе. Присуждение Камю Нобелевской премии только подлило масла в огонь, о чем можно судить по некоторым газетным откликам тех дней: «Присуждая премию Камю, Нобелевский комитет увенчал исчерпавшее себя творчество» (Жан Лоран, «Ар»). «Желая прославить молодого писателя, не благословила ли шведская Академия ранний склероз?» (Роже Стефан, «Франс-Обсерватёр»).

Подавленный этой атмосферой враждебности,

окружавшей его имя, и развитием событий в Алжире, Камю в последние годы жизни ничего не публиковал. На деньги Нобелевской премии он купил дом в Провансе, в деревне Лурмарен, где находится теперь на деревенском кладбище его могила, и вдали от Парижа занялся работой над будущим романом.

Прошло время, страсти улеглись, и публикация рукописи стала возможна. Началась тяжелая и кропотливая работа над текстом. Два года дочь Камю работала с лупой и увеличенными фотокопиями, расшифровывая его мелкую скоропись. «Когда у Камю заканчивались в ручке чернила, он все равно продолжал писать», — рассказывает она. Мучили ее и вполне естественные сомнения: «Камю по шесть раз перерабатывал свои рукописи. Он наверняка не стал бы печатать текст в таком виде. Через это трудно переступить». Некоторая путаница в именах персонажей и все стилистические шероховатости, которых в этой черновой рукописи совсем немного, в публикации (и в переводе) сохранены.

Когда отец погиб, Катрин было четырнадцать лет, но из рассказов матери она знала, что Камю был недоволен тем, как у него шла работа, и хотел уничтожить большую часть написанного,

чтобы начать все сначала. Однако не уничтожил — может быть, просто не успел, и роман вышел — такой, каким застала его смерть автора. Никто, в том числе и Катрин Камю, не предполагал, что прием будет столь восторженным, и две недели спустя, отвечая на вопросы газеты «Монд», она с радостным удивлением признается: «Я не ожидала, что новая встреча с Камю будет таким счастьем!»

Ирина Кузнецова

Катрин Камю. К читателю

Сегодня мы публикуем рукопись «Первого человека». Камю работал над ней перед смертью. Рукопись была найдена в его дорожной сумке 4 января 1960 года. Она состояла из 144 страниц, написанных как писалось, местами без точек и запятых, быстрым неразборчивым почерком, без всякой последующей правки (см. воспроизведение листов рукописи в тексте).

Текст подготовлен по рукописи и первой машинописной копии, сделанной Франсин Камю. Для облегчения понимания мы восстановили пунктуацию. Слова, в прочтении которых мы не уверены, взяты в квадратные скобки. Там, где расшифровать слово не удалось, в квадратных скобках оставлен пробел.

В сносках звездочкой обозначены варианты, надписанные в рукописи над строкой; буквой — пометки на полях, цифрой — примечания издателя.

В приложения вошли листки (мы пронумеровали их от I до V): два были вложены в рукопись (листок I — перед главой четвертой, листок II

— перед главой 6-бис), остальные (III, IV и V) лежали в конце.

Блокнот, озаглавленный «Первый человек (Заметки и планы)», — маленький блокнот в клетку на проволочной спирали, который поможет читателю представить себе, как автор собирался в дальнейшем строить свое произведение, — тоже печатается в приложениях, после листков.

Когда вы прочтете «Первого человека», вы поймете, почему мы добавили к приложениям письмо, которое Альбер Камю после присуждения ему Нобелевской премии отправил своему учителю Луи Жермену, и последнее письмо Луи Жермена к нему.

Мы приносим благодарность Одетт Диань Креаш, Роже Гренье и Роберу Галлимару за помощь, которую они оказывали нам с неизменной дружеской самоотверженностью.

Катрин Камю

I. Поиски отца

Хранительница – вдова Камю

* * *

Тебе, которая никогда не сможет прочесть эту книгу[1][2]

Над повозкой, ехавшей в сумерках по каменистой дороге, неслись к востоку густые тяжелые тучи. Тремя днями раньше они заклубились и набухли над Атлантическим океаном, дождались западного ветра и тронулись: они двигались сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, проплыли над фосфоресцирующей осенней водой, достигли материка, повисли клочьями[3] на марокканских хребтах, потом снова сбились гуртом на высоких плато Алжира и теперь, подойдя к тунисской границе, устремились к Тирренско-

[1] Примечания: 1

В сносках звездочкой обозначены варианты, надписанные в рукописи над строкой; буквой — пометки на полях, цифрой — примечания издателя.

[2] Примечания: 2

[a] Добавить геологическую безымянность пространства. Земля и море.

[3] Примечания: 3

[b] Сольферино.

му морю, чтобы там затеряться. После гонки в несколько тысяч километров над пространством гигантского острова, окруженного с севера беспокойной водной стихией, а с юга — неподвижным морем песка, промчавшись над этой безымянной землей не намного быстрее, чем проходили по ней в былые века империи и народы, они потеряли разбег, отяжелели, и некоторые из них уже растекались, роняя крупные редкие капли, стучавшие по брезенту повозки над головой четверых путешественников.

Повозка скрипела, катясь по едва утрамбованной, хотя и четко обозначенной дороге. Время от времени из-под железного обода или из-под копыт вылетали искры и мелкий камешек ударялся о деревянную стенку повозки или глухо шлепался на рыхлую землю обочины. Однако пара в упряжке шла ровно, небольшие лошадки спотыкались лишь изредка и, выгибая грудь, тянули повозку с тяжелым скарбом, неуклонно оставляя позади километры дороги. Одна временами шумно выпускала воздух через ноздри и сбивалась с ноги. Тогда араб, правивший лошадьми, хлестал ее плашмя потертыми[4] вожжами, и

[4] Примечания: 4

* потрескавшимися от старости.

она снова выравнивала шаг.

Человек, сидевший спереди, подле кучера, француз лет тридцати, молча смотрел на колыхавшиеся перед ним крупы. Крепкий, коренастый, светлоглазый, с продолговатым лицом, высоким прямым лбом и энергичным подбородком, он был одет, несмотря на позднюю осень, в тиковую куртку на трех пуговицах, застегнутую по тогдашней моде под горлом, и легкий картуз[5], из-под которого виднелись коротко подстриженные волосы[6]. Когда по капоту забарабанил дождь, он обернулся и заглянул в глубь повозки: «Как ты?» — крикнул он. С задней скамьи, зажатой между козлами и нагромождением старых чемоданов, ему слабо улыбнулась бедно одетая, закутанная в широкую грубошерстную шаль женщина. «Да, да», — отозвалась она и слегка взмахнула рукой, словно извиняясь. Прижавшись к ней, спал четырехлетний мальчик. У нее было нежное правильное лицо, волосы, как обычно у испанок, черные и вьющиеся, маленький прямой нос, красивые и теплые карие глаза. Но что-то в этом лице поражало. Не

---

[5] Примечания: 5

[a] или что-то вроде котелка?

[6] Примечания: 6

[b] в грубых башмаках.

столько даже сковавшая его маска усталости или внутреннего напряжения, сколько некий отсутствующий взгляд, выражение тихой отрешенности, постоянно блуждающее на лицах некоторых юродивых, но проступавшее лишь мимолетно в прекрасном облике этой женщины. В ее необычайно добрых глазах мелькал порой отсвет беспричинного страха, который тут же угасал. Загрубевшей от работы, чуть узловатой в суставах рукой она легонько похлопала мужа по спине: «Все хорошо, хорошо», — сказала она. И, сразу перестав улыбаться, выглянула из-под брезента на дорогу, где уже блестели лужи.

Мужчина повернулся к невозмутимому арабу в тюрбане с желтой тесьмой, казавшемуся толстяком из-за широченных, стянутых над икрами шаровар. «Далеко еще?» Араб улыбнулся сквозь густые седые усы. «Восемь километров, и ты на месте». Мужчина оглянулся, посмотрел на жену, без улыбки, но заботливо. Она не сводила глаз с дороги. «Дай мне вожжи», — сказал мужчина. «Как угодно». Араб повиновался, они поменялись местами. Двумя ударами вожжей пассажир овладел лошадьми, те выправили шаг и сразу пошли быстрее. «Ты знаешь лошадей», — сказал араб. Последовал краткий, без улыбки, ответ: «Знаю».

Сумерки угасали, и внезапно наступила полная тьма. Араб снял с подставки квадратный фонарь, повернулся спиной к лошадям и, испортив несколько грубых спичек, зажег в нем свечу. Потом поставил фонарь на прежнее место. Дождь стучал теперь мерно и тихо. Он поблескивал в круге тусклого света и наполнял окружающий мрак легким шорохом. Иногда у обочины возникали заросли колючего кустарника или низкорослые деревья, на несколько секунд слабо высвеченные фонарем. Но большую часть времени они ехали среди голых равнин, казавшихся еще необъятнее из-за темноты. Только запахи выжженных трав да порой острый дух удобрений говорили о том, что тут есть возделанные земли. Женщина сзади что-то сказала, возница слегка придержал лошадей и наклонился к ней. «Здесь так безлюдно», — сказала она. «Тебе страшно?» — «Что-что?» Мужчина повторил, на сей раз почти крича. «Нет, нет, с тобой я не боюсь». Но она выглядела встревоженной. «Тебе больно», — сказал мужчина. «Немного». Он подхлестнул лошадей, и снова громкий стук восьми подкованных копыт и скрип колес, вдавленных в колеи, наполнили тьму.

То была осенняя ночь 1913 года. Путешествен-

ники выехали двумя часами раньше со станции Бон, куда прибыли из Алжира, проведя сутки на жестких скамьях вагона третьего класса. Они отыскали там араба с лошадьми, который ждал их, чтобы доставить в усадьбу, расположенную возле небольшой деревеньки, километрах в двадцати от города, — мужчине предстояло работать там управляющим. Какое-то время ушло на то, чтобы погрузить чемоданы и прочий багаж, да еще их задержала плохая дорога. Словно почувствовав беспокойство своего спутника, араб сказал: «Не бойтесь, бандитов здесь нет». — «Они есть везде, — отозвался француз. — Но я для них кое-что припас». И он похлопал себя по внутреннему карману. «Ты прав, — согласился араб. — Ненормальных всюду хватает». В этот момент женщина окликнула мужа: «Анри, мне больно». Мужчина чертыхнулся и еще подхлестнул лошадей[7]. «Уже близко», — сказал он. Минуту спустя он оглянулся. «Болит?» Она улыбнулась ему странной отрешенной улыбкой, лицо ее при этом не выражало муки. «Да, очень». Он посмотрел на нее все так же серьезно. Она опять сделала извиняющийся жест. «Ничего. Это,

---

[7] Примечания: 7

[a] Мальчик.

наверно, от тряски». — «Смотри, — сказал араб. — Вон деревня». В самом деле, чуть впереди, слева от дороги, виднелись затуманенные дождем огни Сольферино. «Но ты бери вправо», — посоветовал араб. Мужчина заколебался, повернулся к жене. «Едем в деревню или домой?» — спросил он. «Домой, лучше домой». Проехав еще немного, они свернули направо, к ожидавшему их незнакомому дому. «Еще километр», — сказал араб. «Мы уже почти приехали», — крикнул француз жене. Она сидела скорчившись, закрыв лицо руками. «Люси», — позвал он. Она не шевельнулась. Мужчина тронул ее за плечо. Она беззвучно плакала. Он закричал, жестикулируя и старательно выговаривая каждый слог: «Ты сейчас сможешь лечь. Я съезжу за доктором». — «Да, съезди. По-моему, началось». Араб смотрел на них с недоумением. «Она рожает, — сказал мужчина. — В деревне есть врач?» — «Да. Если хочешь, я привезу его». — «Нет, ты оставайся в доме. Присмотри за ней. Я обернусь скорее. Есть у него машина или лошадь?» — «Машина». Араб повернулся к женщине: «У тебя будет мальчик. Красавец». Женщина улыбнулась ему, явно не понимая, что он говорит. «Она плохо слышит, — сказал мужчина. — Дома кричи громче и все

показывай жестами».

Повозка вдруг покатилась почти бесшумно. Сузившаяся внезапно дорога была вымощена туфом. Она вела вдоль крытых черепицей сараев, за которыми виднелись первые ряды виноградников. В нос им ударил острый запах виноградного сусла. Затем они миновали какие-то длинные строения с высокими крышами, и колеса зашуршали по шлаку — это было что-то вроде двора, голого, без единого деревца. Араб, молча перехватив вожжи, резко их натянул. Лошади остановились, одна из них захрапела[8]. Араб указал на маленький, выбеленный известью домик. Низкая дверь с голубыми от купороса краями была увита виноградом. Мужчина спрыгнул с повозки и побежал под дождем к дому. Он отворил дверь. Она вела в темное помещение, где пахло остывшим очагом. Араб прошел в темноте к камину и, чиркнув охотничьей спичкой, зажег керосиновую лампу, висевшую над круглым столом. Мужчина беглым взглядом окинул побеленную кухню с облицованной красными плитками раковиной, старым буфетом и отсыревшим календарем на стене. Лестница, тоже

---

[8] Примечания: 8

[a] Темно?

из красных плиток, вела на второй этаж. «Затопи», — сказал он арабу и вернулся к повозке. (Отнес в дом мальчика?) Женщина молча ждала.

Он взял ее на руки, чтобы поставить на землю, и, задержав на миг в объятиях, заглянул ей в лицо. «Ты идти можешь?» — «Да», — проговорила она и узловатыми пальцами погладила его по плечу. Он провел ее к дому. «Подожди», — сказал он. Араб уже развел огонь и ловкими привычными движениями подбрасывал в очаг сухие виноградные побеги. Женщина остановилась у стола, обхватив руками живот, и по ее красивому запрокинутому лицу, освещенному керосиновой лампой, пробегали короткие судороги боли. Казалось, она не замечает ни сырости, ни запаха запустения и нищеты. Мужчина возился в комнатах наверху. Потом он вышел на лестницу. «В спальне камина нет?» — «Нет, — отозвался араб. — И в другой комнате тоже». — «Иди сюда», — сказал мужчина. Араб поднялся к нему. Через несколько минут он появился снова, пятясь и таща матрац, который мужчина держал за другой конец. Они положили его у очага. Приезжий отодвинул стол в угол, а араб снова поднялся наверх и вскоре спустился с подушкой в виде валика и одеялами. «Ложись», — сказал мужчина

жене и подвел ее к матрацу. Она остановилась в нерешительности. Теперь отчетливо чувствовался запах сырого конского волоса, поднимавшийся от матраца. «Я не могу раздеться», — сказала она, опасливо оглядываясь вокруг, словно только что заметила обстановку дома… «Сними нижнее белье», — сказал мужчина. И повторил: «Сними нижнее белье». Потом повернулся к арабу: «Спасибо. Выпряги лошадь. Я поеду верхом». Араб вышел. Женщина раздевалась, стоя спиной к мужу, который тоже отвернулся. Затем она легла и, едва натянув на себя одеяла, вдруг закричала, протяжно, открытым ртом, будто хотела разом дать выход всей накопившейся боли. Мужчина стоял перед матрацем, не пытаясь унять ее крик, а когда она смолкла, снял картуз, встал на одно колено и поцеловал прекрасный лоб над закрытыми веками. Потом снова надел картуз и вышел под дождь. Распряженная лошадь вертела крупом, упираясь передними ногами в шлак. «Я поищу седло», — сказал араб. «Не надо, оставь вожжи. Я поеду так. Отнеси вещи в кухню. У тебя есть жена?» — «Умерла. Она была старая». — «А дочь?» — «Нет, хвала небу. Есть жена сына». — «Скажи ей, чтоб пришла». — «Хорошо. Поезжай с миром». Мужчина посмотрел на старого ара-

ба, который улыбался ему сквозь мокрые усы, неподвижно стоя под мелким дождем. Сам он так и не улыбнулся, а лишь продолжал смотреть на него внимательными, светлыми глазами. Потом протянул ему руку, которой тот коснулся по арабскому обычаю кончиками пальцев и поднес пальцы к губам. Мужчина повернулся, скрипнув каблуками по шлаку, подошел к лошади, вскочил ей на спину и уехал тяжелой рысью.

Оставив позади усадьбу, он двинулся в сторону развилки, откуда они в первый раз увидели огоньки деревни. Теперь огни светили ярче, дождь перестал, уходившая вправо дорога вела в деревню прямо через виноградники, и было видно, как в них местами поблескивает мокрая проволока. Примерно на полпути лошадь сама сбавила ход и пошла шагом. Они подъехали к какому-то прямоугольному сооружению: одна половина его была каменной и явно жилой, а другая, большая, — дощатой, с широким навесом над чем-то вроде полукруглого прилавка. В каменной части виднелась дверь с надписью: «Сельскохозяйственная столовая мадам Жак». Из-под двери пробивался свет. Мужчина остановил лошадь прямо у входа и, не спешиваясь, постучал. Из-за двери тут же отозвался звонкий, решительный

голос: «Кто там?» — «Я новый управляющий усадьбы Сент-Апотр. У меня жена рожает. Нужна помощь». Никто не ответил. Через некоторое время защелкали задвижки, кто-то долго отодвигал и снимал засовы, потом дверь приоткрылась. Он увидел кудрявые черные волосы и европейское женское лицо с круглыми щеками и чуть приплюснутым носом над полными губами. «Меня зовут Анри Кормери. Вы не могли бы пойти к моей жене? Я еду за врачом». Она взглянула на него острыми, проницательными глазами, привыкшими оценивать людей и смотреть в лицо опасности. Он твердо выдержал ее взгляд, но не добавил ни слова. «Хорошо, сейчас, — сказала она. — Поезжайте, не теряйте времени». Он поблагодарил ее и ударил лошадь каблуками. Через несколько минут он въехал в деревню, миновав нечто вроде земляных укреплений. Перед ним лежала деревенская улица, судя по всему, единственная, с маленькими, похожими друг на друга одноэтажными домиками; он доехал по ней до небольшой площади, вымощенной туфом, где на его пути неожиданно вырос металлический каркас музыкальной эстрады. Площадь, как и улица, была пустынна. Кормери уже направился было к ближайшему дому, как лошадь вдруг

шарахнулась в сторону. Из темноты возник араб в рваном бурнусе, шедший ему навстречу. «Где живет доктор?» — едва увидев его, спросил Кормери. Араб внимательно оглядел его. «Поезжай за мной», — сказал он. Они двинулись по улице в обратную сторону. На одном из зданий с высоким фундаментом и побеленной известью лестницей было написано: «Свобода. Равенство. Братство». Рядом, за невысокой оштукатуренной стеной, темнел палисадник, в глубине которого виднелся дом. «Здесь», — указал араб. Кормери соскочил с лошади и быстрым шагом, в котором не чувствовалось усталости, пересек палисадник, не обнаружив там никакой растительности, кроме единственной чахлой пальмы с высохшими ветвями и гнилым стволом. Он постучал в дверь. Никто не ответил[9]. Он оглянулся. Араб молча стоял и ждал. Кормери постучал снова. В доме послышались шаги и остановились у двери. Но она не открылась. Кормери постучал еще раз и сказал: «Мне нужен врач». Засовы тут же были отодвинуты, и дверь отворилась. Вышел высокий, крепкий мужчина в гетрах, с молодым розовощеким лицом, но почти совсем седой. Он

---

[9] Примечания: 9

[a] Я воевал с марокканцами (двусмысленный взгляд) — дрянь люди.

натягивал охотничью куртку. «Господи, откуда вы взялись? — спросил он с улыбкой. — Я никогда вас не видел». Кормери объяснил, кто он. «Ах да, мэр говорил мне про вас. Но что это вам вздумалось ехать в такую дыру рожать?» Кормери ответил, что, по их расчетам, это должно было произойти позже, но, видимо, они ошиблись. «Ничего, бывает. Поезжайте домой. Я оседлаю Матадора и поеду следом».

На полпути, под вновь зарядившим дождем, доктор на серой в яблоках лошади нагнал Кормери, который уже насквозь промок, но по-прежнему держался в седле прямо. «Веселое у вас новоселье, — крикнул ему доктор. — Но вы увидите, здесь вовсе не так плохо, если не считать москитов и местных банд».

Он поравнялся с Кормери. «Что касается москитов, то до весны можете быть спокойны. А вот насчет бандитов…» Он засмеялся, но его спутник по-прежнему ехал молча. Врач с любопытством посмотрел на него: «Не бойтесь, — сказал он, — все будет хорошо». Кормери устремил на врача спокойные светлые глаза и сказал с оттенком теплоты в голосе: «Я не боюсь. Я привык к передрягам». — «Это первенец?» — «Нет, у меня сын четырех лет, я оставил его в Алжире у те-

щи»[10]. Они подъехали к развилке и свернули в сторону усадьбы. Вскоре из-под лошадиных копыт полетел шлак. Когда лошади остановились и стало тихо, они услышали из дома громкий крик. Оба спешились.

Какая-то тень поджидала их у дверей под диким виноградом, с которого струйками стекала вода. Подойдя ближе, они увидели старого араба, прикрывавшего голову мешком. «Здравствуй, Каддур, — сказал врач. — Как там дела?» — «Не знаю, я никогда не захожу к женщинам». — «Хорошее правило, — сказал врач. — Особенно, когда они кричат». Но больше никаких криков не было слышно. Доктор отворил дверь и вошел, Кормери последовал за ним.

В камине горело высокое пламя, освещая комнату ярче, чем медная керосиновая лампа, висевшая под потолком. Раковина справа от входа оказалась завалена металлическими кувшинами и полотенцами. Слева, перед маленьким шатким буфетом светлого дерева, стоял теперь сдвинутый из центра комнаты стол. На нем валялись какие-то свертки, шляпная картонка,

---

[10] Примечания: 10

[1] Противоречит стр. 16: «прижавшись к ней, спал четырехлетний мальчик».

потертый саквояж. Во всех углах громоздились старые чемоданы и среди них большая плетеная корзина; вещи занимали всю комнату, свободное место оставалось только посередине, возле огня. Там на матраце, повернутом под прямым углом к камину, чуть запрокинув голову, лежала женщина. Волосы ее разметались по подушке без наволочки. Одеяла покрывали теперь лишь верхнюю половину тела. Рядом стояла на коленях хозяйка столовой, заслоняя открытую часть матраца. Она выжимала над тазом полотенце, и с него капала красная вода. Напротив, по-восточному поджав под себя ноги, сидела арабская женщина с открытым лицом, протягивая жестом дарительницы другой эмалированный таз, чуть облупившийся, над которым поднимался густой пар. Между ними белела подстеленная под роженицу сложенная простыня. Тени и отсветы пламени скользили по стенам, выбеленным известью, по разбросанным чемоданам, покрывали красными бликами лица возившихся у огня сиделок и тело женщины под грудой одеял.

Когда вошли мужчины, арабка быстро взглянула на них и, коротко хохотнув, снова отвернулась к огню, по-прежнему держа таз худыми смуглыми руками. Хозяйка столовой, увидев их, радостно

воскликнула: «Вы уже не нужны, доктор. Все произошло само собой». Она встала, и мужчины увидели на матраце что-то бесформенное и окровавленное, неподвижное, но чуть заметно подрагивающее[11] и издававшее теперь тихий протяжный звук, похожий на глухое поскрипывание, едва уловимое ухом. «Ну что ж, — отозвался доктор. — Надеюсь, вы не трогали пуповину?» — «Нет, — смеясь ответила женщина. — Надо же было хоть что-нибудь вам оставить». Она отошла, уступив место доктору, который снова заслонил новорожденного от Кормери, застывшего на пороге с картузом в руке. Доктор присел на корточки, открыл свой чемоданчик, взял из рук второй женщины таз, и та сразу же отошла от освещенного места, скрывшись в темном углу за камином. По-прежнему стоя спиной к двери, доктор вымыл руки, потом полил их спиртом, слегка отдающим виноградной водкой, и спиртной дух тут же наполнил комнату. В этот миг роженица подняла голову и увидела мужа. Чудесная улыбка преобразила ее красивое измученное лицо. Кормери подошел к матрацу. «Вот он», — выдохнула она и протянула руку к ребенку.

---

[11] Примечания: 11

[a] как некоторые клетки под микроскопом.

«Да, да, — сказал доктор. — Лежите спокойно». Женщина вопросительно посмотрела на него. Кормери, стоявший в ногах, успокоил ее знаком. «Лежи». Она откинулась на подушку. Доктор возился, склонившись над одеялом. Потом он выпрямился и встряхнул что-то перед собой. Раздался слабый крик. «Мальчик, — сказал врач. — К тому же красавчик». — «Он хорошо начал, — сказала хозяйка столовой. — С новоселья». Арабка в углу засмеялась и захлопала в ладоши. Кормери посмотрел на нее, и она смущенно отвернулась. «Хорошо, — сказал доктор. — А теперь оставьте нас ненадолго одних». Кормери взглянул на жену. Лицо ее по-прежнему было запрокинуто. Только руки, спокойно лежавшие поверх грубого одеяла, еще напоминали об улыбке, которая только что наполнила и преобразила убогую комнату. Он надел картуз и направился к двери. «Как назовете?» — крикнула хозяйка столовой. «Еще не знаю, мы об этом не думали». Он посмотрел на ребенка. «Мы назовем его Жак, в вашу честь, потому что вы были рядом». Она залилась смехом, и Кормери вышел. Под виноградом по-прежнему стоял араб, накрывшись мешком. Он взглянул на Кормери, но тот ничего не сказал. «Держи», — сказал араб, протягивая ему кончик мешка. Кормери

накрылся. Он чувствовал прикосновение плеча старого араба, запах дыма, шедший от его одежды, и дробное постукивание капель по мешку над их головами. «Мальчик», — сказал он, не глядя на араба. «Хвала небу, — отозвался тот. — Ты большой человек». Вода, скопившаяся за тысячи километров отсюда и пришедшая из такой дали, лилась перед ними на шлак, усеянный множеством лужиц, и на темные виноградники, где по-прежнему мерцали отблески мокрой проволоки. Она уже не дойдет до моря на востоке и будет теперь заливать здешний край, болотистую пойму реки и окрестные горы, всю эту огромную, почти безлюдную землю, чей острый запах вдыхали сейчас двое мужчин, стоя вплотную друг к другу под одним мешком, пока у них за спиной то затихал, то вновь раздавался слабый крик.

Поздно ночью, лежа в майке и кальсонах на втором матраце подле жены, Кормери смотрел, как пляшут на потолке блики огня. Комната была прибрана. По другую сторону от жены, в бельевой корзине, лежал ребенок, совсем тихо, лишь время от времени издавая слабое бульканье. Жена тоже спала, повернувшись к нему лицом и чуть приоткрыв рот. Дождь перестал. Завтра надо будет приниматься за работу. Загрубелая,

почти шершавая рука жены, лежавшая рядом с ним, тоже напоминала ему о работе. Кормери протянул руку, тихонько положил ее на ладонь жены и, откинувшись на подушку, закрыл глаза.

Сен-Бриё

[12] Сорок лет спустя, в коридоре поезда, шедшего в Сен-Бриё, стоял человек и неодобрительно смотрел, как под бледным солнцем весеннего дня проплывает мимо плоская тесная низина, усеянная на всем пути от Парижа до Ла-Манша деревнями и уродливыми постройками. Луга и пахотные земли, которые возделываются веками до последнего квадратного метра, сменяли друг друга. В плаще, без шляпы, коротко стриженный, с тонким удлиненным лицом и прямым взглядом голубых глаз, пассажир был хорошо сложен и, несмотря на свои сорок лет, выглядел худощавым. Ворот его плаща был распахнут, сильные руки спокойно лежали на поручне, он стоял, непринужденно выставив вперед ногу, и казался уверенным и энергичным. Поезд замедлил ход и остановился на маленькой невзрачной станции. Молодая женщина, довольно элегантная, прошла по перрону мимо окна, где стоял мужчина. Она остановилась, чтобы переложить чемодан в другую руку, и в этот миг заметила его. Он смотрел

---

[12] Примечания: 12

[a] С самого начала показать в Жаке чудовище.

на нее улыбаясь, и она, не удержавшись, улыбнулась в ответ. Мужчина опустил стекло, но поезд уже тронулся. «Жаль», — сказал он. Женщина все еще улыбалась.

Пассажир вернулся в купе третьего класса и сел на свое место у окна. Напротив него мужчина с редкими прилизанными волосами, явно моложе, чем можно было предположить по одутловатому, в красных прожилках лицу, сидел согнувшись, с закрытыми глазами, и шумно дышал, определенно страдая от трудностей пищеварения; время от времени он бросал быстрые[13] взгляды на своего визави. Рядом с ним принаряженная крестьянка в причудливой шляпе, украшенной восковой виноградной гроздью, вытирала нос рыжему ребенку с тусклым бесцветным лицом. Улыбка исчезла с лица путешественника. Он достал из кармана журнал и начал рассеянно читать статью, вызывавшую у него зевоту.

Через некоторое время поезд остановился, и небольшая табличка с надписью «Сен-Бриё» медленно вплыла в проем окна. Пассажир встал, легко снял с багажной сетки чемодан, попрощался с попутчиками, ответившими ему с удивлением,

---

[13] Примечания: 13

* тусклые.

и, быстро выйдя из купе, спустился по трем вагонным ступенькам на перрон. Там он посмотрел на измазанную сажей ладонь, которой брался за медную ручку вагона, вынул носовой платок и тщательно вытер руку. Потом направился к выходу вместе с толпой постепенно нагнавших его пассажиров, одетых в темное, с одинаковым землистым цветом лица. Он терпеливо встал в очередь под навесом с маленькими колоннами, отдал свой билет, потом подождал, пока молчаливый дежурный его вернет, прошел через зал ожидания, где единственным украшением грязных голых стен были старые плакаты, на которых даже Лазурный берег окрасился в угольные тона, и в косых предвечерних лучах солнца быстро зашагал по улице к центру города.

В гостинице он спросил забронированный заранее номер, отказался от услуг горничной с похожим на картофелину лицом, которая хотела поднести ему чемодан, но, когда она привела его в номер, дал ей чаевые, вызвавшие на ее лице подобие симпатии. Потом он еще раз вымыл руки и тем же быстрым шагом снова спустился вниз, не заперев дверь на ключ. В холле он увидел горничную, спросил у нее, как пройти к кладбищу, получил многословные объяснения, любезно

выслушал их и пошел в указанном направлении. Он шел по унылым узким улицам с однообразными скучными домами, крытыми уродливой красной черепицей. Лишь иногда старые дома с выступающими наружными балками радовали глаз покосившейся шиферной крышей. Редкие прохожие даже на миг не задерживались перед витринами, заполненными посудой, шедеврами из пластика и нейлона и чудовищной керамикой, какую можно встретить в любом городе современного Запада. Только в продуктовых лавках царило изобилие. Кладбище было обнесено высокими угрюмыми стенами. Неподалеку от ворот — жалкие цветочные лотки и мастерские по изготовлению надгробий. У двери одной из них приезжий остановился, засмотревшись на мальчика с живым смышленым личиком, который делал уроки на могильной плите, еще не имевшей надписи. Он вошел в ворота и свернул к домику сторожа. Сторожа не было. Он подождал в тесной, плохо обставленной конторе, потом обнаружил план кладбища и принялся его изучать. Тут появился сторож. Это был высокий жилистый человек с крупным носом, пропахший потом в своей наглухо застегнутой куртке. Приезжий спросил, здесь ли похоронены жертвы Первой

мировой войны. «Да, — ответил сторож, — этот участок называется «Память Франции». Как фамилия покойника?» — «Анри Кормери», — ответил посетитель.

Сторож раскрыл большую книгу, обернутую в упаковочную бумагу, и провел коричневатым пальцем по списку фамилий. Палец остановился. «Кормери Анри, — прочел сторож. — Смертельно ранен в битве на Марне, скончался в Сен-Бриё 11 октября 1914 года». — «Это он», — сказал посетитель. Сторож закрыл книгу. «Пойдемте», — сказал он. И повел его к первым рядам могил — одни были скромные, другие — претенциозные и уродливые, разукрашенные мраморными завитушками и блестящей мишурой, способной обезобразить все что угодно. «Родственник?» — рассеянно спросил сторож. — «Отец». — «Тяжело», — посочувствовал тот. «Да нет, мне и года не было, когда он погиб. Так что сами понимаете». — «Да, — сказал сторож, — и все-таки. Слишком много было убитых». Жак Кормери не ответил. Конечно, убитых было слишком много, но что касается отца, то Жак не мог внушить себе скорбь, которой не чувствовал. Все эти долгие годы, что он жил во Франции, он собирался сделать то, о чем его мать, оставшаяся в Алжире, так давно просила его:

съездить на могилу отца, на которой она сама никогда не была. Он не видел никакого смысла в этой поездке, во-первых, для самого себя, ибо не помнил отца, почти ничего не знал о нем и терпеть не мог делать что-либо ради соблюдения условностей, а во-вторых, для матери, которая никогда не говорила об отце и все равно не сумеет представить себе по его рассказам, как это кладбище в действительности выглядит. Но, поскольку его старый наставник, выйдя на пенсию, поселился в Сен-Бриё и можно было заодно с ним повидаться, он все-таки решился наконец взглянуть на могилу этого незнакомого покойника и даже постарался сделать это сразу по приезде, чтобы отправиться к старому другу уже совершенно свободным. «Это здесь», — сказал сторож. Они подошли к квадратному участку, окруженному низкими столбиками из серого камня, на которых крепилась тяжелая черная цепь. Множество одинаковых прямоугольных плит с именами и датами располагались на равном расстоянии друг от друга, за рядом ряд. На каждом лежал букетик свежих цветов. «Память Франции» вот уже сорок лет следит за содержанием участка, — сказал сторож. — Смотрите, вот его могила». Он указал на одну из плит в первом ряду. Жак Корме-

ри остановился в нескольких шагах. «Не буду вам мешать», — сказал сторож. Кормери подошел к плите и рассеянно посмотрел на нее. Да, это была его собственная фамилия. Он взглянул вверх. В побледневшем небе медленно проплывали маленькие серовато-белые облачка, то пропуская, то вновь затеняя легкий свет. Вокруг на огромном кладбище царила тишина. Через высокие стены едва доносился приглушенный городской гул. Изредка вдалеке между могилами мелькал черный силуэт. Глядя на медленное движение облаков, Жак Кормери силился различить сквозь аромат влажных цветов слабый соленый запах, долетавший сюда с далекого неподвижного моря. Где-то вдруг звякнуло о камень ведро, выведя его из задумчивости. Он опустил глаза и прочел на надгробной плите дату рождения отца, которой, как он внезапно понял, никогда и не знал. Потом прочел обе даты вместе — «1885–1914» — и машинально подсчитал: двадцать девять лет. Его вдруг пронзила мысль, всколыхнувшая все его существо. Ему сейчас сорок. Человек, который лежит под этой плитой и приходится ему отцом, был моложе него[14].

---

[14] Примечания: 14

[a] Переход.

И волна нежности и жалости затопила вдруг его сердце, но это было не то чувство, какое вызывает в сыне воспоминание о погибшем отце, а острое сострадание, которое зрелый человек испытывает к безвинно убитому ребенку. Что-то тут не укладывалось в естественный порядок, да и не было его, этого порядка, там, где сын оказывался старше отца, а были лишь безумие и хаос. Последовательное течение времени разбилось об него, Жака Кормери, неподвижно стоявшего между могил, которых он больше не замечал, и годы, смешавшись, вырвались из русла той великой реки, что вечно несет их к своему устью. Они сталкивались, с бурлением и грохотом, в гигантском водовороте, где Жак Кормери барахтался сейчас, борясь со смятением и жалостью[15]. Он смотрел на другие надгробия, на даты и видел, что эта земля усеяна мертвыми детьми, которые были отцами седеющих людей, считавших себя живыми. Ведь и он считал, что живет, он воспитал себя сам, он сознавал свою силу, выдержку, умел бороться и владеть собой. Но сейчас, в охватившем его странном головокружении, он чувствовал, что та статуя, которую каждый человек посте-

---

[15] Примечания: 15

[b] Развить тему войны 14-го года.

пенно лепит и обжигает в пламени лет, чтобы в итоге слиться с ней и, укрывшись внутри, ждать окончательного распада, стремительно трескается, разваливается на глазах. От всего, чем он был до сих пор, осталось лишь пронзенное тревогой сердце, страстно любящее жизнь и бунтующее вот уже сорок лет против устройства мира, где правит закон смерти, сердце, которое всегда жаждало преодолеть стену, отделявшую его от тайны жизни, преодолеть и очутиться по ту сторону, и узнать, узнать, прежде чем придет смерть, узнать наконец, чтобы *быть* — хоть однажды, хоть на один-единственный миг, но раз и навсегда.

Он припомнил свою жизнь, безрассудную, мужественную, неверную, упрямую, всегда устремленную к этой цели, о которой он ничего не знал, и, по сути дела, прошедшую без малейшей попытки выяснить, что же представлял собой тот, кто дал ему эту самую жизнь и отправился потом умирать куда-то за море, в неведомую ему землю. А каким сам он был в двадцать девять лет? Беспокойным, уязвимым, напряженным, волевым, чувственным, мечтательным, циничным и упорным. Да, и не только. Он был живым человеком, мужчиной в конце концов, но ни разу не подумал о своем отце как о живом человеке,

а только как о незнакомце, промелькнувшем когда-то на земле, где он родился, и лишь знал со слов матери, что отец пал смертью храбрых и что он, Жак, на него похож. А между тем тайна, которую он так жадно стремился познать через книги и людей, была, как теперь ему казалось, связана с этим юным покойником, с его младшим отцом, с тем, чем он был и чем стал, с тем, что сам он искал так далеко и что оказалось так близко — и по времени, и по крови. Правда, ему никто никогда не помогал. Семья, где говорили мало, где никто не читал и не писал, мать, страдающая, рассеянная, — кто мог рассказать ему о его бедном молодом отце? Никто его не знал, кроме матери, которая забыла его. Жак был в этом уверен. И он умер незнакомцем на этой земле, где пробыл недолго, как чужой. Конечно, именно он, сын, должен был узнавать о нем, расспрашивать. Но тому, кто не имеет ничего и жаждет получить весь земной шар, недостаточно собственных сил, чтобы воспитать себя и покорить или понять мир. В конце концов, еще не поздно, можно еще заняться поисками, попытаться узнать, кто был этот человек, казавшийся ему теперь ближе всех людей на свете. Можно…

День угасал. Шорох юбки поблизости и чей-то

силуэт в черном вернули его к зрелищу могил и неба. Пора было уходить, ему больше нечего здесь делать. Но он не мог оторваться от этого имени, от этих дат. Под темным надгробием не было уже ничего, кроме праха и пыли. Но для него отец снова жил, жил странной безмолвной жизнью, и ему казалось, что он, Жак, опять бросает его, оставляет одного в этой ночи, в этом нескончаемом одиночестве, куда его швырнули и покинули. В пустом небе вдруг что-то оглушительно грохнуло. Невидимый самолет преодолел звуковой барьер. Повернувшись спиной к могиле, Жак Кормери зашагал прочь от отца.

3. Сен-Бриё и Малан (Ж. Г.)[16]

Вечером, за обедом, Ж.К. смотрел, как его старый друг с какой-то тревожной жадностью поглощает вторую порцию баранины; поднявшийся ветер негромко шумел вокруг невысокого домика, расположенного в предместье, неподалеку от дороги к пляжам. Приехав, Ж.К. заметил в пыльной сточной канаве у тротуара обрывки высохших водорослей — только они да запах соли напоминали здесь о близости моря. Виктор Малан, проработавший всю жизнь в таможенном управлении, вышел в отставку и остался жить в этом городке, которого он не выбирал, однако впоследствии оправдывал это как выбор, говоря, что здесь ничто не отвлекает его от одиноких раздумий — ни чрезмерная красота, ни чрезмерное безобразие, ни даже само одиночество. Управление делами и руководство людьми открыли ему многое, и прежде всего, видимо, то, что мы почти ничего не знаем. При этом он обладал огромной эрудицией, и Ж.К. безмерно восхищался им, ибо Малан в эпоху, когда люди одаренные так скуч-

---

[16] Примечания: 16

[a] Глава, которую надо написать и выкинуть.

ны, был единственным человеком, способным мыслить независимо, насколько это вообще возможно, — во всяком случае, при внешней уступчивости обладал такой свободой суждения, что она граничила с самой неподдельной оригинальностью.

— Конечно, мой мальчик, — говорил Малан. — Поскольку вы едете к матери, постарайтесь что-нибудь разузнать об отце. А потом бегом ко мне — рассказать, что из этого вышло. Так редко представляется случай посмеяться.

— Да, это смешно. Но, раз уж во мне пробудилось любопытство, я попробую собрать хоть какие-то крохи. В том, что я никогда этим не интересовался, есть что-то противоестественное.

— Вовсе нет, это мудро. Я тридцать лет был женат на Марте, хорошо вам знакомой. Замечательная была женщина, мне до сих пор ее не хватает. Я всегда считал, что она любит свой дом[17].

— Все это, бесспорно, так, — сказал Малан, отводя глаза, и Кормери знал, что за одобрением неминуемо последует возражение.

— И все-таки, — продолжал Малан, — я был бы,

---

[17] Примечания: 17

[1] Эти три абзаца перечеркнуты.

вероятно, не прав, но я бы поостерегся пытаться узнать больше, чем жизнь сама открыла мне. Однако я плохой пример для подражания, не так ли? В сущности, я не стал бы ничего предпринимать исключительно по причине своих недостатков, зато вы, — во взгляде его блеснуло лукавство, — вы человек действия.

В Малане было что-то от китайца — чуть приплюснутый нос, лунообразное лицо с отсутствующими или почти отсутствующими бровями, вечный берет и большие усы, недостаточно, однако, густые, чтобы скрыть мясистый чувственный рот. Да и весь он, круглый, холеный, с пухлыми руками и короткими пальцами, напоминал мандарина, признающего передвижение только в паланкине. Когда он, не переставая с аппетитом есть, прикрывал глаза, воображение настойчиво рисовало его в шелковом халате, с палочками в руках. Но взгляд менял все. Темно-карие глаза, лихорадочные, беспокойные или устремленные вдруг в одну точку, как будто ум его быстро работал над какой-то конкретной мыслью, были глазами европейца, остро чувствующего и обладающего высокой культурой.

Старая служанка принесла сыры, и Малан искоса поглядывал на них.

— Я знал одного человека, — сказал он, — который, прожив тридцать лет со своей женой…

Кормери насторожился. Когда Малан начинал со слов: «я знал одного человека», или «у меня был друг», или «один англичанин, с которым я познакомился в поезде», можно было не сомневаться, что он говорит о себе.

— Этот человек не любил сладостей, и его жена их тоже не ела. И вот однажды, после двадцати лет совместной жизни, он застал свою жену в кондитерской и вдруг понял, глядя на нее, что она приходит сюда несколько раз в неделю и объедается кофейными эклерами. Да, да, он считал, что она не любит сладкого, а на самом деле она обожала кофейные эклеры.

— Выходит, — сказал Кормери, — мы никого по-настоящему не знаем.

— Если угодно. Но, наверно, точнее было бы выразиться иначе — во всяком случае, я предпочел бы так не обобщать, можете списать это на мою неспособность что-либо утверждать наверняка — да, я бы только сказал, что если двадцати лет совместной жизни недостаточно, чтобы узнать кого-то как следует, то, пускаясь в разыскания через сорок лет после смерти человека, вы рискуете получить сведения неизбежно поверхностные

и весьма ограниченные, да, в каком-то смысле, можно сказать, ограниченные. Хотя, впрочем…

Он занес руку с ножом и жестом фаталиста вонзил его в козий сыр.

— Простите. Не хотите сыру? Нет? Вы, как всегда, строги к себе! Тяжелое искусство — нравиться!

Глаза его снова лукаво блеснули сквозь полуприкрытые веки. Кормери знал своего друга уже двадцать лет (объяснить здесь, как и почему) и добродушно воспринимал его колкости.

— Дело вовсе не в том, чтобы нравиться. От переедания я чувствую себя отяжелевшим. Иду ко дну.

— Да, и уже не можете парить над остальными.

Кормери посмотрел на красивую мебель в деревенском стиле, которой была обставлена низкая столовая с побеленными известью балками.

— Друг мой, — сказал он, — вы всегда считали меня гордецом. Я и есть гордец. Но не всегда и не со всеми. С вами, например, я не могу быть гордым.

Малан отвел взгляд, что было у него признаком волнения.

— Я знаю, — проговорил он, — но почему?

— Потому что я вас люблю, — спокойно сказал Кормери.

Малан придвинул к себе вазу с охлажденными фруктами и ничего не ответил.

— Потому что, — продолжал Кормери, — когда я был очень молод, очень глуп и очень одинок — помните, тогда, в Алжире? — вы приняли во мне участие и открыли для меня, как бы походя, пути ко всему, что я люблю в этом мире.

— О! Вы способный человек.

— Да, конечно. Но и самые способные нуждаются в наставнике. И тот, которого жизнь в один прекрасный день посылает вам, должен быть всегда любим и почитаем, даже если он к этому не стремился. Таково мое убеждение!

— Да, да, — сказал Малан с хитроватым видом.

— Вы его не вполне разделяете, я знаю. Но не думайте, что моя привязанность к вам безоговорочна. У вас есть крупные, даже очень крупные недостатки. Во всяком случае, в моих глазах.

Малан облизал толстые губы, и в его взгляде вдруг появился интерес.

— Какие же?

— Ну, например, вы, скажем так, бережливы. Не от природной жадности, впрочем, а от панического страха, страха перед нуждой и так далее.

Тем не менее это недостаток серьезный, и, признаться, я этого в людях не люблю. Но, главное, вы всегда непроизвольно подозреваете у всех какую-то заднюю мысль. Вы инстинктивно не верите в бескорыстные побуждения.

— Согласитесь, — сказал Малан, допивая вино, — что мне не следовало бы пить кофе. Однако…

Но Кормери не терял спокойствия[18].

— К примеру, вы наверняка не поверите мне, если я скажу, что стоит вам просто попросить, и я немедленно отдам вам все, что имею.

На сей раз Малан, поколебавшись, все-таки взглянул на своего друга.

— О, я знаю. Вы человек щедрый.

— Нет, я вовсе не щедрый. Я скуп на свое время, силы, энергию, и сам себя за это ненавижу. Но то, что я сейчас сказал, правда. Вы мне не верите, в этом-то и заключается ваш недостаток и самая настоящая ущербность, хотя вы человек незаурядный. Потому что вы заблуждаетесь. По первому же вашему слову все мое имущество в ту же минуту будет вашим. Вам это не нужно, это

---

[18] Примечания: 18

[a] Я часто даю взаймы деньги, зная, что не получу их назад, совершенно безразличным мне людям. Но я делаю это потому, что не умею отказывать, хотя меня самого это бесит.

просто пример. Но он взят не случайно. Все, что у меня есть, действительно принадлежит вам.

— Спасибо, право, — сказал Малан, не поднимая полуприкрытых век. — Я очень тронут.

— Ладно, я смутил вас. Вам не по душе, когда говорят слишком прямо. Я просто хотел сказать, что люблю вас при всех ваших изъянах. Я люблю и чту очень немногих. К остальным я постыдно равнодушен. Но уж если я кого-то люблю, то ни я сам, ни тем более эти люди не в силах этого изменить. Мне понадобились годы, чтобы понять это; теперь я это знаю. А сейчас продолжим наш разговор. Вы не одобряете моего намерения выяснить что-нибудь об отце?

— Не совсем так, я вполне одобряю, только боюсь, что вас ждет разочарование. Мой друг, который был сильно влюблен в одну девушку и хотел на ней жениться, имел глупость навести о ней справки.

— Обыватель, — сказал Кормери.

— Да, — согласился Малан. — Это был я.

Оба рассмеялись.

— Я был молод. Я собрал столь противоречивые мнения, что это поколебало мое собственное. Я уже не знал, люблю я ее или нет. Короче, я женился на другой.

— Но я же не могу выбрать себе другого отца.

— Не можете. К счастью. Одного вполне достаточно, знаю по опыту.

— Ладно, — сказал Кормери. — Я все равно должен ехать к матери через пару недель Вот и воспользуюсь случаем. Я заговорил об этом главным образом потому, что меня сегодня потрясла эта разница в возрасте в мою пользу. Да, в мою пользу.

— Я понимаю.

Он посмотрел на Малана.

— Утешайте себя тем, что ему не пришлось стареть. Его миновала эта медленная пытка.

— Вместе с изрядным количеством радостей.

— Да. Вы любите жизнь. Да и как иначе, вы ведь только в нее и верите.

Малан тяжело опустился в глубокое кресло, обитое кретоном, и лицо его вдруг стало невыразимо печальным:

— Что ж, вы правы. Я сам любил жизнь и сейчас люблю все с той же ненасытностью. И вместе с тем она кажется мне ужасной. И непостижимой. Вот поэтому я и верю — от скепсиса. Да, я хочу верить и хочу жить, вечно.

Кормери молчал.

— В шестьдесят пять лет каждый год — это от-

срочка. Я хотел бы умереть спокойно, а умирать так страшно. Я ничего не сделал.

— Есть люди, которые служат оправданием этому миру, помогают жить одним своим присутствием.

— Да, но и они умирают.

Они замолчали, ветер за окном зашумел сильнее.

— Вы правы, Жак, — сказал Малан. — Поезжайте и узнайте все, что сможете. Вам больше не нужен отец. Вы сами себя воспитали. Теперь вы можете любить его так, как вы умеете любить. Но… — сказал он и запнулся, — приезжайте навещать меня. Мне уже не так много осталось. И простите меня…

— Простить? — сказал Кормери. — Я обязан вам всем.

— Да ничем вы мне особенно не обязаны. Простите меня за то, что я не всегда умел ответить на вашу преданность…

Малан смотрел на тяжелую, под старину, люстру над столом, и голос его стал глуше, когда он произносил слова, которые еще долго потом звучали в ушах у Кормери, одиноко шагавшего на ветру по пустынному предместью:

— У меня внутри ужасная пустота, какое-то

безразличие ко всему, которое меня убивает[19]...

[19] Примечания: 19

[a] Жак / Я пытался с детства, еще совсем ребенком, разобраться сам, что хорошо, а что дурно, ибо никто из окружающих не мог мне этого объяснить. А теперь я чувствую, что мне не на что опереться, что мне необходим кто-то, кто указывал бы мне путь, хвалил или порицал меня, но не по праву власти, а по праву своего авторитета, мне нужен отец. Я думал, что знаю и могу сам направлять себя, но я все еще не [знаю?].

4. Детские игры

Легкая невысокая зябь качала корабль, накаленный июльской жарой. Жак Кормери лежал полуголый в своей каюте и смотрел, как на медных краях иллюминатора пляшут зайчики от рассыпанных по морю солнечных бликов. Он вскочил и выключил вентилятор, от которого пот высыхал в порах, не успев освежить тело, — уж лучше было бы нормально потеть — и снова лег на койку, жесткую и узкую, как он любил. Сразу же стал слышен рокот машин, доносившийся из недр корабля глухими толчками, словно огромная армия то начинала маршировать, то останавливалась, и так без конца. Любил он и шум больших теплоходов, не прекращавшийся ни днем, ни ночью, и это ощущение, будто ходишь по вулкану, когда вокруг расстилается море, открывая глазу беспредельный простор. Но на палубе было сейчас слишком жарко; после обеда пассажиры, одуревшие от еды, повалились в шезлонги под тентами или укрылись в каюты на время сиесты. Жак не любил спать днем. «A benidor», — вспомнил он с незабытой детской обидой. Это были загадочные слова его бабки,

когда она заставляла его, еще маленького, в Алжире, вместе с ней ложиться днем спать. Три комнаты тесной квартирки на окраине Алжира были погружены в полумрак, исчерченный узкими полосками света, пробивавшегося сквозь закрытые ставни[20]. Снаружи сухие пыльные улицы плавились под солнцем, а в сумраке комнат без устали метались в поисках выхода две или три упрямые жирные мухи, гудя как пропеллер. Было слишком жарко, чтобы бежать на улицу к друзьям, которых тоже насильно держали дома. Слишком жарко, чтобы читать «Пардайянов» или «Неустрашимого»[21]. Если бабушки не оказывалось дома, что случалось крайне редко, или она болтала с соседкой, он пробирался в столовую и, прильнув лбом к ставням, смотрел на улицу. Мостовая была пустынна. В галантерее и в обувном магазине напротив были опущены красные и желтые полотняные шторы, вход в табачную лавку скрывала занавеска из блестящих разноцветных висюлек, а у Жана, хозяина кафе, в зале

[20] Примечания: 20

[a] Лет в десять.

[21] Примечания: 21

[b] Толстые книги на газетной бумаге с грубо размалеванными обложками, на которых цена была напечатана крупнее, чем название и фамилия автора.

не было ни души, если не считать кошки, которая лежала на пороге, растянувшись между усыпанным опилками полом и пыльным тротуаром, и спала как убитая.

Мальчик отворачивался и смотрел на комнату, голую и почти пустую: посредине стоял квадратный стол, вдоль побеленных известью стен — буфет, маленький письменный столик, весь в царапинах и чернильных пятнах, небольшой, покрытый одеялом матрац прямо на полу, где ночью спал полунемой брат матери, и пять стульев[22]. В углу, на камине, у которого только доска была мраморной, белела вазочка с цветочным орнаментом вокруг узкого горлышка, из тех, что продаются на любой ярмарке. Мальчик, зажатый между двумя пустынями — солнца и сумрака, принимался безостановочно бегать вокруг стола, бормоча, словно заклинание: «Мне скучно! Мне скучно! Мне скучно!» Ему и в самом деле было скучно, но все же в этом была игра, удовольствие, своего рода упоение этой скукой, и он приходил в отчаяние, услышав «A benidor»

[22] Примечания: 22

[a] Безукоризненная чистота. Шкаф, деревянный туалетный столик с мраморной столешницей. Перед кроватью коврик с переплетающимся узором, потертый, грязный, истрепавшийся по краям. И большой сундук в углу, покрытый старым арабским ковром с кистями и шишечками.

вернувшейся наконец бабушки. Но никакие протесты не помогали. Бабушка, вырастившая девятерых детей в глухой алжирской деревне, имела свои понятия о воспитании. Она мгновенно заталкивала его в спальню. Это была одна из двух комнат, выходивших во двор. В другой стояли две кровати: на одной спала мать, на второй — они с братом. Бабушка располагала одна целой комнатой. Но она часто брала его на ночь и каждый день на сиесту в свою огромную и высокую деревянную кровать. Он сбрасывал сандалии и забирался к стенке. Ему не разрешалось лежать с краю с тех пор как однажды, пока бабушка спала, он соскользнул с кровати и принялся за беготню вокруг стола, бубня свое заклинание. Устроившись в постели, он смотрел, как бабушка снимает платье и развязывает ленточку, которой была стянута у ворота грубая полотняная рубашка. Потом она тоже ложилась, и мальчик, вдыхая запах стареющего тела, глядел на большие синие вены и пигментные пятна, уродовавшие бабушкины ноги. «Ну, вот, — говорила она. — A benidor», — и быстро засыпала, а он, лежа с открытыми глазами, следил за полетом неутомимых мух.

Да, он ненавидел это на протяжении многих лет и потом, став взрослым, до тех пор пока серьезно

не заболел, не мог заставить себя прилечь после обеда в жаркие полуденные часы. И если ему все же случалось днем заснуть, то, проснувшись, он чувствовал себя скверно и его мутило. Только в последнее время, с тех пор как он стал страдать бессонницей, он научился засыпать иногда на полчаса среди дня и просыпаться бодрым и освеженным. А benidor…

Ветер стих, побежденный солнцем. Корабль больше не болтало, он шел, судя по всему, прямо, машины работали в полную силу, винт отвесно буравил водную глубь, и шум поршней стал настолько равномерным, что сливался теперь с неумолкающим рокотом пронизанного солнцем моря. Жак дремал, но сердце его щемило от какой-то счастливой тревоги при мысли, что он снова увидит Алжир и бедный маленький дом на окраине. Так бывало всегда, когда он уезжал из Парижа в Африку. Он чувствовал легкость, в нем нарастало глухое ликование, внутреннее торжество, которое испытывает пленник, совершивший удачный побег и веселящийся при мысли о том, какую рожу скорчат тюремщики. И точно так же всякий раз, когда он возвращался обратно в Париж на автомобиле или поездом, на сердце ложилась тяжесть при виде первых

пригородов: они возникали всегда неожиданно, на голом месте, без полосы деревьев или воды, которые обозначали бы границу, словно зловещая раковая опухоль с метастазами уродства и нищеты, постепенно засасывающая инородное тело, чтобы перенести его в центр города — там от окружающего великолепия он забывал порой про железобетонный лес, державший его в плену день и ночь и не дававший покоя во время бессонницы. Но сейчас он вырвался, он дышал, покоясь на широкой спине моря, дышал волнами под плавно качающимся солнцем, он мог наконец уснуть и вернуться к детству, от которого так никогда и не излечился, к этой тайне света и согревающей бедности, которые помогали ему жить и все превозмогать. Преломленный луч, теперь почти неподвижный на меди иллюминатора, исходил от того же самого солнца, что когда-то обрушивалось всей своей тяжестью на поверхность ставен и вонзало в полумрак комнаты, где спала бабушка, один-единственный тончайший клинок сквозь просвет в ставнях, образовавшийся на месте выпавшего сучка. Не хватало только мух, не они гудели сейчас, пронизывая мерным жужжанием его дремоту, на море мух не бывает, да и не было уже на свете тех

мух, которые так нравились ему в детстве, ибо они шумели и были единственными живыми существами в этом усыпленном жарой мире, где все люди и животные неподвижно лежали без сил, кроме него самого, вертевшегося на кровати между стеной и спящей бабушкой, — ему тоже хотелось жить и двигаться и казалось, что время, отданное сну, отнято у жизни и у игры. Друзья уже наверняка ждали его на улице Прево-Парадоль, утопавшей в маленьких садиках, — по вечерам там всегда пахло политой зеленью и жимолостью, которая росла везде, поливали ее или нет. Как только бабушка встанет, он понесется вниз по лестнице, промчится по Лионской улице, все еще безлюдной под своими фикусами, добежит до колонки на углу улицы Прево-Парадоль, с налета крутанет массивную чугунную рукоятку и подставит голову под кран, под хлещущую струю, которая зальет ему нос и уши, потечет сквозь распахнутый ворот к животу, польется под короткими штанами по ногам, промочит сандалии. И тогда, с наслаждением ощущая, как хлюпает под пятками вода, он побежит во весь дух дальше, к Пьеру[23] и ко всем остальным — они ждут его,

[23] Примечания: 23

[a] Пьер, тоже сын солдатской вдовы, работавшей на почте, был его другом.

сидя у входа в единственный трехэтажный дом на всей улице, и затачивают деревянный брусок, который через несколько минут будет пущен в ход вместе с синей деревянной битой для игры в «канет венга»[24].

Как только собиралась вся компания, они пускались в путь, грохоча битами по ржавым решеткам садов, так что просыпалась вся улица и прыскали в разные стороны кошки, спавшие под пыльными глициниями. Уже изрядно вспотевшие, ребята гонялись друг за другом, перебегая то и дело мостовую, но путь их все время лежал в одном направлении — *к зеленому полю*, расположенному в нескольких кварталах оттуда, неподалеку от школы. По дороге делали одну обязательную остановку — возле так называемого бассейна: это был огромный, трехъярусный, круглый фонтан, который давно не бил, а бассейн его с безнадежно засоренным водостоком периодически до краев наполнялся дождевой водой от лавиноподобных местных ливней. Вода застаивалась и гнила под слоем грязной пены, арбузных корок, апельсинной кожуры и прочего мусора, пока не высыхала сама от солнца или

---

[24] Примечания: 24

[1] См. далее объяснение автора.

городские власти, спохватившись, не откачивали ее, но сухая, потрескавшаяся, грязная тина долго еще покрывала дно; в конце концов солнце, продолжая свою работу, обращало ее в пыль, которую ветер или метла дворника рассеивали по глянцевой листве обступающих площадь фикусов. Летом, во всяком случае, бассейн бывал пуст, и его высокие бортики из темного камня, отполированные сотнями рук и штанов, служили Жаку, Пьеру и всем остальным чем-то вроде гимнастического коня — они елозили по ним на попках и вертелись до тех пор, пока дело не заканчивалось неизбежным падением в неглубокий бассейн, пропахший мочой и солнцем.

Потом, все так же бегом, по жаре и пыли, покрывавшей ровным слоем их ноги и сандалии, они устремлялись к зеленому полю. Это было что-то вроде пустыря за бочарной мастерской, где среди ржавых железных обручей и гниющих доньев от старых бочек пробивались между туфовых плит пучки чахлой травы. Здесь они, громко крича, чертили на туфе круг. Один из них, с битой в руке, вставал в середину, а остальные по очереди бросали в круг брусок, заточенный в виде сигарки. Если сигарка падала на землю внутри окружности, тот, кто бросил ее, сам становился

защитником круга. Самые ловкие[25] отбивали сигарку в воздухе и отправляли сильным ударом очень далеко. В этих случаях они имели право подойти к тому месту, куда она упала, и ребром биты ударить ее по заостренному концу: сигарка подлетала высоко вверх, и они били по ней, отсылая еще дальше, и так до бесконечности, пока не промахнешься или другие не перехватят сигарку на лету — тогда надо было скорее бросаться назад и защищать круг от быстрых и точных ударов противника. Этот теннис для бедных с несколько усложненными правилами занимал всю вторую половину дня. Самым ловким был Пьер, более худощавый, чем Жак, меньше его ростом, внешне почти хрупкий и, в противоположность черноволосому Жаку, абсолютный блондин — даже ресницы у него были белесые, отчего взгляд прямых голубых глаз казался беззащитным, как бы слегка обиженным и удивленным; с виду Пьер был нескладным, но в игре действовал всегда точно и ловко. Жак мог взять неберущийся удар, но мог и промахнуться, когда сигарка сама летела в руки. Из-за некоторых блистательных удач, вызывавших восхищение товарищей, он считал

[25] Примечания: 25

[a] ловкий защитник — в единственном числе.

себя лучшим и фанфаронил. На самом же деле Пьер постоянно побеждал его и никогда ни слова не говорил об этом. Но после игры он расправлял плечи, выпрямлялся во весь рост и молча улыбался, слушая других[26].

Когда погода или настроение не располагали к беготне по улицам и пустырям, они собирались в подъезде дома, где жил Жак. Оттуда через черный ход они спускались в покатый двор, окруженный с трех сторон стенами соседних домов. С четвертой был сад, над его оградой нависали ветви большого апельсинового дерева, и, когда оно цвело, запах поднимался над убогими домами, плыл из подъезда на улицу или опускался во двор вдоль каменной лесенки. В этом четырехугольнике одну сторону целиком и половину другой занимало низкое сооружение, построенное буквой «Г», где жил парикмахер-испанец — в его парикмахерскую вход был с улицы — и араб с семьей[27]. Иногда по вечерам его жена поджаривала во дворе кофейные зерна. Вдоль третьей стороны располагались высокие полуразвалившиеся деревянные курятники с проволочными

---

[26] Примечания: 26

[a] Здесь, на зеленом поле, происходили и «сшибки».

[27] Примечания: 27

[b] Омар — сын этой пары, его отец — дворник.

решетками — жильцы разводили кур. И, наконец, с четвертой, по обе стороны лесенки, зияли широкие черные пасти погребов — глухие, сочащиеся сыростью пещеры, вырытые прямо в земле, без всяких перегородок или дверей. В них вели три или четыре замшелые земляные ступеньки, и жильцы сваливали туда как попало излишки своего имущества, то есть попросту рухлядь: старые мешки, которые там догнивали, сломанные ящики, дырявые проржавелые тазы — в общем, то, что обычно валяется на пустырях и не нужно даже самым жалким нищим. В одном из этих подвалов любили сидеть мальчишки. Жан и Жозеф, сыновья парикмахера-испанца, играли там часто. Это были их владения, собственный сад у порога их лачуги. Жозеф, кругленький и насмешливый, непрерывно улыбался и раздавал все, что имел. Жан, маленький и тощий, вечно подбирал всякие старые гвозди и винтики и чрезвычайно дорожил своими шариками и абрикосовыми косточками, необходимыми для одной из их любимых игр[28]. Невозможно было вообразить два более несхо-

[28] Примечания: 28

[a] На три лежащих рядом абрикосовых косточки укладывалась четвертая. Надо было с определенного расстояния разбить эту горку, бросив пятую косточку. Тот, кому это удавалось, забирал все косточки себе. Если он промахивался, то его косточка вместе с остальными четырьмя доставалась следующему игроку, более удачливому.

жих характера, чем у этих неразлучных братьев. Вместе с Пьером, Жаком и Максом, пятым членом их компании, они забирались в сырой вонючий погреб. Там они натягивали на ржавые железные брусья рваные мешки, плесневевшие в куче хлама, предварительно стряхнув с них маленьких серых тараканов с членистым панцирем, которых они называли морскими свинками. Под этим тошнотворным навесом, почувствовав себя наконец дома (ни у одного из них не было не то что своей комнаты, но даже отдельной кровати), они разводили маленькие костры, но в этом влажном спертом воздухе пламя едва тлело, исходя дымом и выкуривая ребят из их логова, так что в конце концов они забрасывали огонь землей. Потом делили — не без препирательств с маленьким Жаном — мятные карамели, китайские орехи или подсушенный и подсоленный турецкий горох, люпиновые семечки, именуемые «трамуссами», или яркие разноцветные леденцы, которыми торговали арабы у ближайшего кинотеатра с тележки, осаждаемой мухами и состоявшей из обыкновенного ящика на подшипниках. Когда шли дожди, вода пропитывала землю двора и стекала в подвалы, регулярно затопляя их, и ребята, восседая на старых ящиках, играли в Робинзонов

вдали от чистого неба и морских ветров, счастливые в своем нищенском царстве[29].

Но самыми лучшими[30] были летние дни, когда под тем или иным предлогом, с помощью какого-нибудь великолепного вранья им удавалось отвертеться от сиесты. Тогда они могли проделать пешком — ибо денег на трамвай у них не бывало — долгий путь до ботанического сада: они проходили всю череду желто-серых улиц окраины, потом квартал, где располагались конюшни — огромные сараи, принадлежавшие предприятиям или частным владельцам, которые занимались грузовыми перевозками. Тут они медленно шли вдоль больших раздвижных ворот и слушали, как внутри топчутся лошади, как они, шлепая губами, с шумом выпускают воздух, как звякает о деревянные ясли железная цепь, заменявшая им недоуздок, и с наслаждением вдыхали запах навоза, соломы и конского пота, исходивший от этих запретных мест. Жак продолжал грезить о них даже ночью, пока не засыпал. Ребята останавливались перед открытыми воротами какой-нибудь конюшни, где чистили

---

[29] Примечания: 29

[a] Галуфа.

[30] Примечания: 30

[*] грандиозными.

лошадей — больших мохноногих битюгов, вывезенных из Франции и смотревших на них глазами изгнанников, мутными от жары и мух. Потом, выставленные вон конюхами, мальчики бежали к огромному саду, где выращивались самые редкостные растения. На главной аллее, откуда открывалась широкая панорама клумб и водоемов, тянувшихся до самого моря, они под подозрительными взглядами смотрителей напускали на себя равнодушный вид цивилизованных посетителей. Однако, свернув на первую же поперечную дорожку, они бросались бежать между двумя сплошными стенами мангровых зарослей, таких густых, что под ними было почти темно. Они неслись в восточную часть парка, к высоким каучуковым деревьям[31], у которых невозможно было отличить опущенные ветви от тянувшихся к земле воздушных корней, и, минуя их, мчались дальше, к истинной цели своего путешествия — большим кокосовым пальмам, увенчанным плотными гроздьями маленьких оранжевых плодов — они их называли «кокозами». Прибыв на место, надо было прежде всего произвести разведку, дабы убедиться, что

[31] Примечания: 31

[a] дать названия деревьев.

поблизости нет никого из смотрителей. Потом запастись боеприпасами, то бишь камнями. Когда все наконец возвращались с полными карманами камней, каждый по очереди стрелял по гроздьям, тихонько покачивавшимся в небе над всеми прочими деревьями. При каждом удачном броске несколько орехов падали на землю и становились собственностью стрелка. Остальные, прежде чем стрелять, должны были подождать, пока он соберет свои трофеи. В этой игре Жак, отличавшийся меткостью, не уступал Пьеру. Но оба они делились добычей с менее удачливыми товарищами. Чаще всего мазал Макс, он плохо видел и ходил в очках. Коренастый и плотный, он пользовался однако уважением товарищей с того дня, когда они увидели, как он дерется. В бесчисленных уличных драках все они, и особенно Жак, не владевший собой в минуты ярости и ожесточения, привыкли тут же набрасываться на противника, чтобы поколотить его сразу и побольнее, рискуя при этом крепко получить сдачи; Макс же, когда толстый сын мясника, имевший кличку Шницель, обозвал его «поганым бошем» за имя, звучавшее на немецкий лад, спокойно снял очки, отдал их Жозефу, встал в стойку, как боксеры на газетных снимках, и предложил обид-

чику повторить сказанное. После чего, оставаясь внешне невозмутимым и спокойно уклоняясь от наскоков Шницеля, несколько раз подряд ударил его, не получив ни одного удара сам, и в конце концов изловчился — покрыв себя высшей славой — поставить ему под глазом фонарь. С тех пор авторитет Макса в их маленькой компании был непоколебим. Потом они бежали к морю с липкими от кокосов руками и карманами, и едва оказавшись за пределами сада, выкладывали свою добычу на грязные носовые платки и с наслаждением жевали волокнистую мякоть, тошнотворно жирную и приторную, но легкую и сладостную, как победа. Затем они устремлялись к пляжу.

Для этого надо было пересечь дорогу, прозванную овечьей, потому что по ней гоняли овец на рынок в Мезон-Карре, восточный пригород Алжира. Но на самом деле это был просто рокадный путь между морем и полукружием города, раскинувшегося амфитеатром на прибрежных холмах. Между дорогой и морем тянулись фабрики, кирпичные заводики и большой газовый завод, их разделяли участки песка, покрытого глиняными черепками или известковой пылью, где белели какие-то доски и железяки. Миновав

эту унылую песчаную равнину, друзья оказывались на пляже Саблет. Песок здесь был темный, и волны у берега не всегда прозрачные. Справа общественная купальня предлагала посетителям свои кабинки, а по праздникам и свой зал — большой деревянный сарай на сваях — для танцев. Каждый день, в сезон, торговец хрустящей картошкой топил здесь свою железную печку. В большинстве случаев у ребят не набиралось денег даже на один кулек. Если же вдруг у кого-то из них чудом оказывалась искомая монетка[32], он покупал кулек картошки, важно шествовал к пляжу в сопровождении свиты почтительных товарищей, и у самого моря, в тени старой сломанной лодки, утопая ногами в песке, плюхался на попку, одной рукой держа кулек в вертикальном положении, а другой прикрывая его сверху, чтобы не уронить ни один из хрустящих кусочков. По установившемуся правилу он угощал каждого одним ломтиком, и они благоговейно вкушали свою порцию лакомства, горячего и благоухающего пахучим маслом. Потом все они смотрели, как счастливчик торжественно, по одной, смакует оставшиеся картошинки. На дне

---

[32] Примечания: 32

[a] 2 су.

пакета всегда были еще крошки. Друзья молили пресыщенного баловня судьбы поделиться ими. И почти всегда, если только это был не Жан, он разворачивал промасленную бумагу и позволял каждому по очереди взять по одному обломку. Требовалось лишь бросить жребий, кто набросится первым и выберет самый крупный. Наконец пиршество заканчивалось, наслаждение и досада мгновенно забывались, и они мчались дальше под палящим солнцем, в западный конец пляжа, к полуразрушенному кирпичному фундаменту, видимо, служившему некогда основанием для какой-то снесенной деревянной постройки, — там они раздевались. Через несколько секунд они уже были голые, а еще через миг — в воде и плыли сильными неуклюжими саженками, что-то крича[33], захлебываясь и отплевываясь, соревнуясь, кто глубже нырнет или дольше пробудет под водой. Море было теплым, спокойным, солнце уже не так пекло их мокрые головы, и празднество света наполняло все их существо ликованием, от которого они вопили без умолку. Они царили над жизнью и морем, все самые роскошные дары мира принадлежали им, они

[33] Примечания: 33

[a] Утонешь — мать тебя прибьет! — Ай-яй-яй, у тебя все видно, вот бесстыдник! И куда только твоя мать смотрит.

пользовались ими безоглядно, как владетельные принцы, уверенные в своем неисчерпаемом и бесценном богатстве.

Забыв о времени, они с разбегу бросались в море, сушились на берегу после соленой воды, от которой кожа делалась клейкой, а потом смывали в море серый песок, облепивший их с ног до головы. Они носились взад и вперед, а стрижи, испуская короткие крики, уже летали все ниже и ниже над фабриками и пляжем. Небо, освобожденное от дневного жара, становилось прозрачнее и незаметно приобретало зеленоватый оттенок, свет смягчался, и по ту сторону залива дуга городских домов, недавно тонувших в мареве, проступала все отчетливее. Было еще светло, но кое-где уже зажигались огни, возвещая приближение коротких африканских сумерек.

Обычно Пьер первым подавал сигнал: «Уже поздно!», и начиналась паника, все разом бросались бежать, прощаясь уже на ходу. Жак с Жозефом и Жаном неслись к себе, забыв об остальных. Они мчались по улицам не переводя дыхания. Мать Жозефа была скора на руку. А уж бабушка Жака… Они бежали в стремительно сгущавшихся сумерках, обезумев от вида первых фонарей и освещенных трамваев, впадали

в ужас, понимая, что становится совсем темно, из последних сил прибавляли ходу и расставались у порога, даже не говоря «до свидания». В такие вечера Жак останавливался посреди темной вонючей лестницы, прислонялся к стене и ждал, когда сердце перестанет так колотиться. Но ждать было некогда, и от этой мысли он задыхался еще сильнее. В три скачка он оказывался на своей площадке, пробегал мимо уборной и открывал дверь. В столовой в конце коридора горел свет, и Жак, холодея, слышал стук ложек по тарелкам. Он входил. За столом, в круге света от керосиновой лампы, полунемой дядя[34] шумно хлебал суп; мать, еще молодая, с густыми темными волосами, поднимала на него большие кроткие глаза. «Ты же знаешь…» — начинала она. Но бабушка, прямая, с непреклонной линией губ и суровыми светлыми глазами, продолжая сидеть к нему спиной, не давала дочери договорить. «Где ты был?» — спрашивала она. — «Мы с Пьером делали арифметику». Бабушка вставала и подходила к нему. Она принюхивалась к его волосам, потом ощупывала лодыжки, которые все еще были в песке. «Ты был на пляже». — «Вы-

[34] Примечания: 34

[a] брат.

ходит, ты врун», — с трудом выговаривал дядя. Но бабушка уже шла к двери, она снимала с гвоздя в коридоре толстую плетку, называвшуюся в доме «бычья жила», и вытягивала его три-четыре раза по ногам и ягодицам, так что он готов был выть от нестерпимой боли. Потом, давясь от подступавших слез перед тарелкой супа, из жалости поданной ему дядей, он крепился изо всех сил, чтобы не разреветься. А мать, бросив быстрый взгляд на бабку, склоняла к нему нежное лицо, которое он так любил: «Ешь суп, — говорила она. — Ну, всё, всё». И тут он начинал плакать.

Жак Кормери проснулся. Солнце больше не отражалось в медном иллюминаторе, оно опустилось к горизонту и освещало теперь стену напротив. Жак оделся и вышел на палубу. Он увидит Алжир на исходе ночи.

5. Отец. Его смерть. Война. Теракт

Он сжал ее в объятиях прямо на пороге, с трудом переводя дух после того как взлетел по лестнице через ступеньку, одним махом, ни разу не споткнувшись, как будто ноги все еще точно помнили высоту ступеней. Выйдя из такси посреди оживленной, несмотря на ранний час, улицы, недавно политой и местами еще блестящей от воды[35], которую солнце уже обращало потихоньку в легкий пар, он увидел ее там же, где всегда, на узком балконе, общем на две комнаты, прямо над навесом парикмахера — но это был уже не отец Жана и Жозефа, тот умер от туберкулеза, это все из-за работы, говорила его жена, он все время возился с волосами, — где на покрытии из гофрированного железа валялись, как прежде, высохшие смоквы, окурки и скомканные бумажки. Она сидела там, все такая же пышноволосая, хотя и давно седая, прямая, несмотря на свои семьдесят два года — с виду ей можно было дать лет на десять меньше благодаря необычайно стройной, худощавой фигуре и все еще заметной

[35] Примечания: 35

[a] воскресенье.

физической крепости, — это было у них в роду, где все как на подбор были поджарые, несуетливые, наделенные неиссякаемой энергией люди, как бы неподвластные старости. В пятьдесят лет полунемой дядя Эмиль[36] выглядел совсем молодым человеком. Бабушка умерла, так и не согнувшись. Что же до матери, к которой он взбегал сейчас по лестнице, то, казалось, ничто не способно сокрушить ее нежную стойкость, ибо даже десятилетия тяжкого труда пощадили ее красоту, так восхищавшую в детстве Кормери.

Когда он очутился на площадке, мать уже стояла в дверях и бросилась ему на шею. Как всегда, когда они встречались после разлуки, она поцеловала его раза два или три, прижимая к себе изо всех сил, и он чувствовал под руками ее ребра, жесткие выступы чуть подрагивающих плеч и вдыхал нежный запах ее кожи, напоминавший ему о впадинке на шее, которую он уже не осмеливался целовать, но в детстве любил нюхать и гладить, и в тех считаных случаях, когда она брала его на колени, он, притворясь спящим, утыкался носом в эту впадинку, и ее запах был для него столь редким в его детской жизни запа-

---

[36] Примечания: 36

[1] Будет дальше Эрнестом.

хом нежности. Мать целовала его, потом, на миг отпустив, смотрела ему в лицо и снова прижимала к себе, чтобы поцеловать еще раз, как будто, оценив мысленно всю любовь, какую питала к нему или могла выразить, сочла, что мера еще не полна. «Сынок, — говорила она, — как долго тебя не было»[37]. И, сразу же отвернувшись, возвращалась в квартиру, садилась на стул у окна и начинала смотреть на улицу, словно больше не думала о нем, как, впрочем, и ни о чем, глядя на него порой как-то странно, точно теперь — во всяком случае, ему так казалось, — он был здесь лишним и нарушал порядок небольшого мира, пустого и замкнутого, где она обитала в одиночестве. Но в этот день, сев рядом, он почувствовал в ней какое-то беспокойство, она все время украдкой посматривала на улицу, чуть отводя свои прекрасные глаза, темные и блестящие, которые мгновенно успокаивались, когда она переводила взгляд на Жака.

Шум на улице постепенно нарастал, все чаще с грохотом проносились мимо тяжелые красные трамваи. Кормери смотрел на мать: одетая в серую блузку с белым воротничком, она сидела

[37] Примечания: 37

[a] переход.

в профиль перед окном на неудобном стуле[38], там, где сидела всегда, слегка ссутулившись, но не откидываясь на спинку, и время от времени комкала в загрубелых пальцах платок, скатывала его в шарик, а потом забывала в складках юбки меж неподвижных рук. Она была такой же, как тридцать лет назад, и за сетью морщин он видел все то же лицо, поразительно молодое, гладкие и блестящие, словно литые, дуги бровей, маленький прямой нос, рот, все еще прекрасно очерченный, — его не портили ни зубной протез, ни морщинки в уголках губ. Даже шея, которая обычно так быстро увядает, сохранила свою форму, несмотря на узловатые вены и чуть оплывший подбородок. «Ты была в парикмахерской», — сказал Жак. Она улыбнулась, как девочка, уличенная в проказе. «Да, ведь ты должен был приехать». Она всегда была кокетлива на свой лад, почти незаметно. Как бы бедно она ни одевалась, Жак не помнил, чтобы она надела хоть раз что-то некрасивое. Даже теперь серые и черные тона, которые она носила, были прекрасно подобраны. Это был врожденный вкус, свойственный всему их клану, вечно нищему

---

[38] Примечания: 38

[1] Два неразборчивых знака.

или бедному, где лишь несколько дальних родственников сумели кое-как выбиться из нужды. Однако их мужчины, как все средиземноморцы, любили белые сорочки и отглаженные брюки со стрелкой, находя вполне естественным, что непрерывная забота об этом, учитывая скудость гардероба, добавляется к повседневному труду женщин, матерей или жен. И его мать[39] тоже считала, что ей недостаточно стирать и убирать у чужих людей: Жак всегда видел ее в своих воспоминаниях, начиная с самых ранних, бесконечно отглаживающей единственные брюки брата и его собственные, пока он не уехал и не попал в мир женщин, которые не гладят и не стирают. «Он итальянец, наш парикмахер, — сказала мать. — Он хорошо работает». — «Да», — согласился Жак. Он хотел было сказать: «Ты очень красивая», но удержался. Он никогда не решался произнести это вслух. Не то чтобы он боялся отповеди с ее стороны или сомневался, что этот комплимент будет ей приятен. Но просто это означало бы перейти некий невидимый барьер, который она всю жизнь воздвигала между собой и другими, — мягкая и вежливая, уступчивая, даже

[39] Примечания: 39

[a] Четко очерченные и гладкие надбровные дуги, под которыми блестят черные глаза.

пассивная, но никогда и никем не прирученная, замкнувшаяся в своей практически полной глухоте и трудности общения, красивая, разумеется, но почти неприступная — он чувствовал это особенно остро, когда она улыбалась и его сердце еще сильнее рвалось к ней, — да, всю жизнь у нее был вид смиренный и робкий, но в то же время отстраненный, и этот неизменный взгляд, каким она тридцать лет назад смотрела, не вмешиваясь, как ее мать бьет Жака плетью, хотя сама никогда не то что пальцем не тронула, но даже ни разу не побранила по-настоящему своих сыновей, и наверняка эти удары жгли ее так же, как и его, но ей мешала вступиться усталость, затрудненность речи, почтение к матери, и она молча терпела, днями, годами, терпела порку детей, как и свой тяжкий труд в чужих домах с паркетными полами, которые она мыла, ползая на коленях, жизнь без мужчины и без утешения среди жирной посуды и грязного белья чужих людей, нескончаемые беспросветные дни, тянувшиеся один за другим и составлявшие ее жизнь, в которой не было надежды, а потому не было и недовольства, так она и жила, неграмотная, выносливая, заранее смирившаяся со всеми страданиями, как со своими, так и с чужими. Он никогда не слышал от

нее жалоб, разве что на усталость или ломоту в пояснице после тяжелой стирки. Он никогда не слышал, чтобы она о ком-нибудь говорила плохо, иногда только могла сказать, что какая-нибудь из сестер или теток была с ней неприветлива или держала себя «гордо». Но зато он редко слышал и чтобы она от души смеялась. Теперь она смеялась чаще, с тех пор как бросила работать и дети взяли на себя ее содержание. Жак оглядывал комнату, которая тоже совершенно не изменилась. Мать не захотела расстаться с этой квартирой, где все ей было привычно, со знакомым кварталом и переехать в другой район, получше, но где ей пришлось бы труднее. Да, это была та же самая комната. В ней сменили мебель, купили более приличную, не такую убогую. Но все здесь, как и раньше, было голо, предметы стояли в ряд по стенам. «Ты вечно везде шаришь», — сказала мать. Да, он не мог удержаться, чтобы не заглянуть в буфет, где по-прежнему лежало только самое необходимое, несмотря на все его мольбы, и эта пустота его поражала. Он открывал один за другим ящики маленького серванта: там хранились два-три лекарства, которыми обходились в доме во всех случаях жизни, несколько старых газет и моток бечевки, маленькая картонная коробочка

с разрозненными пуговицами и старая фотография для удостоверения личности. Даже лишние предметы выглядели здесь бедными, потому что лишним не пользовались никогда. И Жак прекрасно знал, что живи его мать в нормальном доме, где было бы множество вещей, как у него, она все равно пользовалась бы только самым насущным. Он знал, что за стеной, в ее спальне, где стоял небольшой шкаф, узкая кровать, туалетный столик и плетеный стул, а единственное окно было занавешено связанной крючком занавеской, он не найдет, помимо мебели, ни одной вещи — разве что носовой платок, скатанный в шарик, который она забывала иногда на пустом туалетном столике.

Когда Жак, став постарше, попал в другие до-ма — сначала к товарищам по лицею, потом к людям более состоятельным, — его потрясло обилие ваз, вазочек, статуэток, картин, заполнявших все комнаты. У него дома говорили: «ваза, которая стоит на камине», «кастрюля», «глубокие тарелки», и ни один предмет в их хозяйстве не имел имени собственного. В гостях у дяди им предлагали полюбоваться вогезской керамикой, еду подавали на кемперском сервизе. Жак рос среди бедности, голой, как смерть, в окружении имен нарица-

тельных; у дяди он открывал имена собственные. И до сих пор в комнате со свежевымытым полом на простой, натертой до блеска мебели не было ничего, если не считать медной арабской пепельницы чеканной работы, выставленной на сервант к его приезду, да почтового календаря на стене. Здесь нечего было показывать и почти не о чем говорить, поэтому он не знал ничего о матери, кроме того, что замечал сам. Об отце тоже.

— Папа…

Она взглянула на него внимательнее, прислушалась[40].

— Его звали Анри, а дальше как?

— Не знаю.

— У него не было второго имени?

— Наверно, было, но я не помню.

Внезапно отвлекшись, она посмотрела на улицу, где солнце палило теперь во всю силу.

— Он был похож на меня?

— Да, вылитый ты. У него были светлые глаза. И лоб как у тебя.

— В каком году он родился?

— Не знаю. Я была на четыре года старше.

— А ты родилась в каком году?

---

[40] Примечания: 40

[a] Отец — расспросы — война 14-го года — Теракт.

— Не знаю. Посмотри в свидетельстве о браке.

Жак пошел в спальню, открыл шкаф. На верхней полочке, между полотенцами, лежали свидетельство о браке, пенсионная книжка и какие-то старые бумаги на испанском языке. Он вернулся с документами в руках.

— Он родился в 1885-м, а ты в 1882-м. Ты была старше на три года.

— Да? Я думала, на четыре! Это было так давно.

— Ты говорила, что он очень рано потерял родителей, и братья отдали его в сиротский приют.

— Да. Братья и сестра.

— У его родителей была своя ферма?

— Да. Они были эльзасцы.

— В Улед-Файе?

— Да. А у нас — в Шераге. Это недалеко.

— Сколько ему было лет, когда у него умерли родители?

— Не знаю. Он был совсем ребенком. Сестра его бросила. Это нехорошо. Он не хотел их видеть.

— Сколько лет было его сестре?

— Не знаю.

— А братьям? Он был самый младший?

— Нет. Второй.

— Значит, его братья были слишком малы, чтобы заботиться о нем.

— Да. Конечно.

— Тогда они перед ним не виноваты.

— Виноваты, он был обижен на них. После приюта, в шестнадцать лет, он вернулся к сестре на ферму. Там на него навалили самую тяжелую работу. Это было не по-людски.

— Он перебрался в Шерагу?

— Да. К нам.

— Тогда ты и познакомилась с ним?

— Да.

Она снова отвернулась к окну, и Жак понял, что так он далеко не продвинется. Но она вдруг сама направила разговор в другое русло.

— Понимаешь, он не умел читать. В приюте их ничему не учили.

— Но ты же показывала мне его открытки с фронта.

— Да, его научил месье Классьо.

— У Рикома?

— Да. Месье Классьо был его начальником. Он научил его читать и писать.

— В каком возрасте?

— Лет в двадцать, по-моему. Не знаю. Все это было давно. Но к тому времени, когда мы поженились, он уже научился разбираться в виноделии и мог работать где угодно. Он был умный. — Она

посмотрела на него. — Как ты.

— А потом?

— Потом? Родился твой брат. Отец работал у Рикома, и Риком отправил его на свою ферму в Сент-Лапотр.

— Сент-Апотр?

— Да-да. А потом началась война. Он погиб. Мне прислали осколок снаряда.

Осколок снаряда, пробивший голову отцу, лежал в коробке из-под печенья, под теми же самыми полотенцами в шкафу, вместе с его открытками с фронта, такими отрывистыми и краткими, что Жак помнил их наизусть. «Дорогая Люси. У меня все хорошо. Завтра нас переводят в другое место. Береги детей. Целую тебя. Твой муж».

Да, во тьме той самой ночи, когда он, эмигрант, сын эмигрантов, появился на свет во время переезда, Европа уже готовила пушки, которые должны были выстрелить все разом несколько месяцев спустя, выгнав супругов Кормери из Сент-Апотра, его — на призывной пункт, а ее с ребенком, опухшим от москитных укусов, — в маленькую бабушкину квартирку на окраине Алжира. «Не беспокойтесь, мама. Как только Анри вернется, мы тут же уедем». Бабка, прямая,

с пучком седых волос на затылке и светлыми суровыми глазами, дала свой ответ: «Придется работать, дочка».

— Отец был зуавом?

— Да. Он воевал в Марокко.

Действительно. Жак забыл. В тысяча девятьсот пятом. Отцу было двадцать лет. Он, как тогда говорили, служил в Марокко в действующей армии[41]. Жак вспомнил, как ему рассказывал об этом директор школы, когда он несколько лет назад встретил его здесь, в Алжире. Месье Левек был призван одновременно с его отцом. Но они всего месяц прослужили вместе в одной части. По его словам, он плохо знал Кормери, потому что тот был неразговорчив. Выносливый, молчаливый, но с легким характером и справедливый. Только однажды Кормери вышел из себя. Это было ночью, после нестерпимо жаркого дня в глубине Атласа, где их подразделение расположилось лагерем на одном из холмов под защитой скалистого ущелья. Кормери и Левек должны были сменить в ущелье часового. Никто не отозвался на их оклик. Они обнаружили своего товарища возле зарослей кактусов, он лежал с запрокину-

[41] Примечания: 41

[a] 14.

той головой, как-то странно повернутой к луне. Сначала они даже не узнали его, у него было что-то непонятное с лицом. Но все оказалось просто. Ему перерезали горло, а синеватая опухоль над губами была его отрезанным половым органом, торчащим изо рта. Только тут они заметили, что ноги у него раздвинуты, форменные штаны вспороты и на этом месте, почти не освещенном луной, темнеет густая лужа[42]. В ста метрах оттуда, за скалой, лежал еще один часовой в таком же виде. Забили тревогу, усилили посты. На рассвете, когда они вернулись в лагерь, Кормери сказал: «Они не люди». Левек задумался и возразил, что, по их представлениям, настоящие мужчины должны поступать именно так, потому что это их земля, и они сопротивляются любыми способами. Кормери набычился. «Наверно. Но это гнусно. Человек не может делать такое». Левек ответил, что, видимо, по их понятиям, иногда человек должен идти на все и [все уничтожать]. Но Кормери закричал, словно в каком-то исступлении: «Нет, человек должен себя обуздывать. Тогда он человек, а иначе…» Потом вдруг успокоился. «Я нищий, — сказал он глухо, — я вырос в приюте,

[42] Примечания: 42

[a] что с ним околеть, что без него, один черт, сказал сержант.

на меня нацепили эту форму и погнали на войну, но я обуздываю себя». — «Среди французов тоже бывают такие, которые себя не обуздывают», — сказал Левек. — «Значит, они тоже не люди…»

И вдруг он заорал: «Выродки! Что за выродки! Все, все…» И, бледный как полотно, ушел в свою палатку.

Вспоминая об этом, Жак понял, что именно от этого старого учителя, которого давно потерял из виду, он больше всего узнал об отце. Но, если не считать подробностей, это было немногим больше, чем он сам угадывал за молчанием матери. Человек суровый, с горечью в душе, который всю жизнь работал, убивал по приказу, принимал все, чего нельзя было избежать, но где-то глубоко внутри не поступался своей сутью. Словом, человек бедный, ибо бедняки не выбирают, как им жить, но могут сохранить себя. И Жак пытался, исходя из того немногого, что знал от матери, представить себе того же самого человека девять лет спустя, уже женатого, отца двоих детей, добившегося чуть более приличного положения в жизни и внезапно вызванного в Алжир для мобилизации[43]: долгая ночная поездка в поез-

---

[43] Примечания: 43

[a] алжирские газеты за 1814 г. [Sic].

де с безропотной женой и капризничающими детьми, прощание на вокзале, а потом, через три дня, его внезапное появление в маленькой квартирке в Белькуре, в красивой красно-синей форме зуавов с широченными штанами из плотной шерсти, в которых он истекал потом под июльским солнцем[44], и шляпой канотье в руке, поскольку ни фески, ни каски ему не выдали. Он сбежал самовольно со сборного пункта, чтобы в последний раз поцеловать жену и детей перед назначенной на вечер того же дня отправкой во Францию, которую он никогда в жизни не видел[45], по морю, по которому никогда не плавал, и, поцеловав их крепко и быстро, сразу же побежал назад, а жена с балкона махала ему рукой, и он, оглянувшись на бегу, остановился, помахал в ответ шляпой и снова бросился бежать по улице, серой от жары и пыли, и наконец исчез вдали за кинотеатром, в ослепительном утреннем свете, чтобы никогда больше не вернуться. Остальное можно было только угадывать. Тут не могли помочь рассказы матери, не имевшей понятия ни об истории, ни о географии, она зна-

[44] Примечания: 44

* Август.

[45] Примечания: 45

[a] Он никогда не видел Францию. Увидел ее и погиб.

ла только, что живет на земле возле моря, что Франция находится где-то по ту сторону этого моря, по которому она тоже никогда не плавала, да и сама эта Франция представлялась ей каким-то неведомым краем, погруженным в неясную мглу, куда попадают через порт под названием Марсель, — он виделся ей в точности таким же, как их порт в Алжире, — и где есть сверкающий город, говорят, очень красивый — Париж, и еще некая область Эльзас, откуда происходили родители мужа, но они бежали оттуда когда-то очень давно под натиском врагов, именуемых немцами, и поселились в Алжире, который тоже нужно было отвоевывать у всё тех же врагов, злых и беспощадных, особенно по отношению к французам, не сделавшим им ничего плохого. Французы почему-то были вынуждены вечно обороняться от этих воинственных, жестоких людей, не умеющих мирно жить. По соседству с Францией находилась Испания, тоже неведомо где, но все-таки поближе, оттуда уехали ее родители, маонцы, примерно тогда же, когда и родители мужа, и осели в Алжире, потому что подыхали с голоду на Маоне, про который она даже не знала, что это — остров, и не понимала, что означает это слово, так как никогда не видела островов. Ее

иногда поражали названия других стран, но она никогда не могла их правильно выговорить. Во всяком случае, она ни разу в жизни не слышала ни об Австро-Венгрии, ни о Сербии; Россия, как и Англия, имели слишком сложные названия, она не знала, что такое эрцгерцог и никогда не сумела бы без ошибок произнести все четыре слога слова «Сараево». Война пришла, как зловещая туча, чреватая непонятной угрозой, ее нельзя было остановить, как нельзя остановить саранчу или опустошительные грозы, гремевшие над алжирскими плоскогорьями. Немцы опять заставили Францию воевать, и всех ожидали страдания — для этого не было никаких причин, она не знала ни истории Франции, ни вообще что такое история. Она едва знала историю собственной жизни и жизни тех, кого любила, — их всех тоже ожидали страдания, как и ее. Во тьме мироздания, недоступного ее воображению, и истории, непостижимой для ее ума, наступила еще более темная ночь, вот и все, пришли непонятные приказы, принесенные в их глушь усталым, потным жандармом, и им пришлось покинуть ферму, где уже все было готово к сбору винограда, — кюре приехал на станцию в Бон, откуда уезжали мобилизованные: «Надо молить Бога», — сказал он ей,

и она ответила: «Да, месье кюре», — хотя на самом деле ничего не услышала, потому что он говорил тихо, да ей и не пришло бы в голову молить Бога, она не любила никого беспокоить, — и вот ее муж уехал в новом нарядном костюме, он скоро вернется, так говорили все, и немцы будут наказаны, но пока что надо было искать работу. К счастью, кто-то из соседей сказал бабушке, что на заводе боеприпасов при Арсенале требуются женщины, причем предпочтение будет отдаваться женам мобилизованных, особенно если у них на иждивении дети, так что, если повезет, она получит возможность работать по десять часов в день, сортируя картонные гильзы по цвету и размеру, сможет приносить бабушке деньги и кормить детей, пока немцы не будут наказаны и не вернется Анри. Разумеется, она ничего не слыхала о существовании русского фронта, да и не знала, что такое фронт, не подозревала о том, что война идет и на Балканах, и на Ближнем Востоке, по всей планете, — всё происходило только во Франции, куда немцы ворвались без предупреждения и начали убивать детей. Всё и вправду происходило там, куда были посланы в спешном порядке африканские части, и среди них Кормери, — в загадочном месте, о котором все говорили, на

Марне; их перебрасывали так срочно, что даже не успели достать касок, а поскольку солнце там не такое горячее, чтобы быстро выжечь все краски, то алжирские солдаты — арабы и французы, в ярких, кричащих формах и соломенных шляпах, этакие красно-синие мишени, заметные за сотни метров, — шли сотнями под огонь и сотнями погибали, удобряя своими телами узкую полоску земли, где на протяжении четырех лет люди со всего мира, забившись в тесные, полные жидкой грязи берлоги, цеплялись за каждый метр, а небо над ними ощетинивалось осветительными ракетами и ревущими снарядами под грохот артиллерийских обстрелов, возвещавших бессмысленные атаки[46]. Но поначалу не было даже этих берлог, африканские части просто таяли под огнем, как размалеванные восковые куклы, и во всех уголках Алжира рождались тысячи сирот, арабов и французов, дочерей и сыновей, которым предстояло учиться жить без наставников и без наследства. Прошло всего несколько недель, и вот воскресным утром, когда Люси Кормери и ее мать сидели на низких стульях посреди узкой площадки своего второго — и последнего — этажа,

[46] Примечания: 46

[a] развить.

между лестницей и уборными — двумя темными кабинками с круглой дырой в кирпичной кладке, которые без конца чистили крезолом, но они не переставали от этого вонять, — и перебирали чечевицу при слабом уличном свете, падавшем из фрамуги над лестницей, а младенец, лежа в бельевой корзине, сосал обслюнявленную морковку, в пролете появился скорбный, хорошо одетый господин с каким-то конвертом к руке. Удивленные женщины отставили в сторону тарелки с чечевицей, которую брали горстями из большой кастрюли, стоявшей между ними, и вытерли руки, но господин, остановившись на предпоследней ступеньке, сказал, чтоб они не вставали, и выразил желание видеть мадам Кормери. «Вот она, — сказала бабушка, — я ее мать», тогда господин сообщил, что он мэр и принес печальное известие о том, что ее муж пал смертью храбрых и что Франция оплакивает его и гордится им. Люси Кормери не расслышала, она встала и почтительно протянула ему руку, а бабушка отшатнулась и прижала ладонь ко рту, повторяя по-испански: «О Господи!» Мэр задержал руку Люси в своей, потом еще раз пожал ее обеими руками, пробормотал слова соболезнования, вручил конверт, повернулся и тяжелым шагом

начал спускаться. «Что он сказал?» — спросила Люси. — «Анри погиб. Его убили». Люси смотрела на конверт, не вскрывая его, — ни она, ни мать читать не умели, — она вертела его в руке, без слез, не говоря ни слова, не в силах представить себе эту далекую смерть где-то в глубине неведомой ночи. Потом она положила конверт в карман фартука, прошла, не взглянув на ребенка, к себе в комнату, где спала с обоими детьми, закрыла дверь и ставни, легла на кровать и пролежала так много часов, молча, с сухими глазами, сжимая в кармане извещение, которое не умела прочесть, и пытаясь разглядеть во тьме непонятную ей беду[47].

— Мама, — сказал Жак.

Она продолжала смотреть на улицу с тем же выражением лица, не слыша его. Он тронул ее худую морщинистую руку, и она с улыбкой повернулась к нему.

— Папины открытки из госпиталя…

— Да?

— Ты получила их после прихода мэра?

— Да.

Он был ранен в голову осколком снаряда, и его

---

[47] Примечания: 47

[a] она считает, что осколки снарядов — это такое отдельное оружие.

поместили в хлюпающий кровью санитарный поезд, заваленный грязными бинтами и соломой, один из тех, что во множестве курсировали между бойней и госпиталями Сен-Бриё. Там он сумел нацарапать две открытки, вслепую, потому что уже ничего не видел. «Я ранен. Это пустяки. Твой муж». Потом он умер, через несколько дней. Сестра милосердия написала: «Так лучше. Он остался бы слепым или слабоумным. Он держался очень мужественно». Потом прислали осколок.

Под окном прошел вооруженный патруль из трех десантников. Они двигались гуськом, внимательно глядя по сторонам. Один из них был негр, высокий и гибкий, похожий на красивого зверя в пятнистой шкуре.

— Это все из-за бандитов, — сказала она. — Я рада, что ты съездил к нему на могилу. Я уже стара, к тому же это далеко. Там красиво?

— Где? На кладбище?

— Да.

— Красиво. Там много цветов.

— Хорошо. Французы — настоящие герои.

Она говорила и сама в это верила, но уже не думала о своем муже, давно забытом, как и то старое горе. Ничего не осталось ни в ней самой, ни в доме от этого человека, сгинувшего в мировом

огне и оставившего по себе лишь воспоминание, неосязаемое, как пепел от крыльев мотылька, сгоревшего в лесном пожаре.

— Подожди, у меня рагу горит.

[48] Она встала, пошла на кухню, он сел на ее место и тоже стал смотреть на улицу, не изменившуюся за столько лет, и магазины на ней были всё те же, с блеклыми, облупившимися от солнца фасадами. Только в табачной лавке напротив висела теперь на двери пестрая пластиковая штора вместо старого занавеса из тонких полых тростинок. Жак до сих пор помнил, как они шуршали, когда он раздвигал их и входил, вдыхая восхитительный запах табака и типографской краски, и покупал там новые выпуски «Неустрашимого», которыми он упивался, читая истории о благородстве и мужестве. На улице царило воскресное оживление. Рабочие в белых рубашках, свежевыстиранных и отглаженных, направлялись, беседуя, к трем-четырем кафе, откуда веяло прохладой и анисом. Мимо проходили арабы, тоже бедные, но опрятно одетые, с женами, по-прежнему закрывающими лица и обутыми в остроносые туфли в стиле Людовика XV. Попадались и целые

[48] Примечания: 48

[a] перемены в квартире.

арабские семейства в праздничной одежде. Одна такая семья шла с тремя детьми, и мальчик у них был наряжен десантником. Навстречу как раз шагали патрульные, с виду спокойные и даже равнодушные. В ту минуту, когда Люси Кормери вернулась из кухни, раздался взрыв.

Грохнуло совсем рядом, с огромной силой, и все вокруг еще долго сотрясалось от взрывной волны. Даже когда шум уже стих, над столом все еще качалась лампа в стеклянном плафоне. Мать побледнела, отпрянула и застыла в глубине комнаты: ноги едва держали ее, а в ее глазах был ужас, с которым она не в силах была совладать. «Это здесь. Здесь», — повторяла она. «Нет», — сказал Жак и кинулся к окну. Люди куда-то бежали, он не мог понять куда; какая-то арабская семья бросилась в галантерею напротив, заталкивая перед собой детей, галантерейщик впустил их, закрыл дверь, запер ее, а сам остановился у окна и продолжал смотреть на улицу. Вновь появились патрульные: они мчались со всех ног. Машины одна за другой останавливались и выстраивались вдоль тротуаров. В несколько секунд улица опустела. Но, высунувшись, Жак увидел, что вдали, между кинотеатром «Мюссе» и трамвайной остановкой, бурлит толпа. «Пойду посмотрю», —

сказал он.

На улице Прево-Парадоль[49][50] шумела группа людей. «Чурки проклятые!» — крикнул рабочий в майке, глядя на какого-то араба, забившегося в подворотню возле кафе. И направился к нему. «Я ничего не сделал», — сказал араб. «Все вы из одной банды, ублюдки!» Рабочий бросился на него. Стоящие рядом его удержали. Жак сказал арабу: «Пойдем со мной», — и вошел с ним в кафе, оно принадлежало теперь Жану, его другу детства, сыну парикмахера. Жан был на месте, все такой же, только весь в морщинах, худой и маленький, с настороженным лисьим лицом. «Он ни при чем, — сказал Жак. — Спрячь его». Жан, вытирая стойку, посмотрел на араба. «Пошли», — сказал он, и они исчезли в глубине зала. На улице рабочий зло посмотрел на Жака. «Он не виноват», — сказал Жак. «Всех их надо к стенке, до одного!» — «Ты так сгоряча говоришь. Разберись сначала». Тот пожал плечами: «Сходи туда, посмотри на эту кашу, тогда рассуждай».

---

[49] Примечания: 49

[a] — Он его видел до прихода к матери? — Переделать в третьей части покушение Кессуса, и тогда здесь о теракте только упомянуть. — Дальше.

[50] Примечания: 50

[1] Весь этот отрывок до слова «боли» обведен и помечен знаком вопроса.

Приближались настойчивые короткие гудки «Скорой помощи». Жак побежал к скоплению народа. Бомба взорвалась в фонарном столбе, прямо на остановке. Там было много людей, ждавших трамвая, все принаряженные по-воскресному. Из маленького кафе неподалеку неслись крики, и непонятно было, кричат от ярости и[51] от боли.

Он вернулся к матери. Она стояла прямая как струна, без кровинки в лице.

— Сядь, — Жак подвел ее к стулу, возле стола. Сам сел рядом и взял ее за руки.

— Второй раз за неделю, — сказала она. — Страшно выходить из дому.

— Ничего, — сказал Жак, — это скоро кончится.

— Да, — ответила она.

Она смотрела на него с какой-то неуверенностью, словно колебалась между верой в его ум и своим собственным убеждением, что вся жизнь состоит из страдания, перед которым люди бессильны, и можно только терпеть.

— Понимаешь, — продолжала она, — я ведь уже старая. Я не могу убежать.

Кровь постепенно вновь приливала к ее щекам. Вдали раздавались короткие, настойчивые

---

[51] Примечания: 51

[1] Sic.

гудки «Скорой помощи». Но мать их не слышала. Она глубоко вздохнула, немного успокоилась и улыбнулась сыну своей красивой мужественной улыбкой. Как и вся ее семья, она выросла среди опасностей, страх мог леденить ей душу, но она сносила его, как и все остальное. Но он не мог вынести ее внезапно застывшего, как предсмертная маска, лица. «Поедем со мной во Францию», — сказал он, но она с грустной решимостью покачала головой: «О, нет! Там холодно. Я уже слишком стара. Лучше я останусь тут».

6. Семья

— Я люблю, когда ты приезжаешь, — сказала мать. — Но приходи вечером пораньше, а то мне одной так тоскливо. Вечером особенно, а зимой темнеет рано. Если бы я хоть умела читать. Но я и вязать при электричестве не могу, глаза болят. Когда Этьена нет дома, я ложусь и жду, когда пора будет ужинать. Время так медленно тянется. Если бы девочки были со мной, я могла бы с ними поболтать. Но они приходят ненадолго и уходят. Я старая. Может быть, от меня плохо пахнет. И вот так, совсем одна…

Она говорила на одном дыхании, короткими простыми фразами, без пауз, словно давая выход мысли, которую до этой минуты не облекала в слова. Исчерпав мысль, она умолкла, опять плотно сомкнула губы и устремила мягкий безучастный взгляд на горячий свет, пробивавшийся сквозь закрытые ставни столовой; она сидела все на том же месте, на том же неудобном стуле, а сын ее, как в былые времена, кружил вокруг обеденного стола[52].

---

[52] Примечания: 52

[a] Отношения с братом Анри, драки.

Она смотрит, как он опять кружит вокруг стола[53].

— Там красиво, в Сольферино.

— Да, там очень чисто. Но все, наверно, изменилось с тех пор, как ты там жила.

— Да, все меняется.

— Доктор передает тебе привет. Ты помнишь его?

— Нет, это было так давно.

— Никто там не помнит папу.

— Мы там жили совсем недолго. И потом, он мало говорил.

— Мама!

Она посмотрела на него нежным рассеянным взглядом, без улыбки.

— Мне казалось, вы с папой никогда не жили вместе в Алжире.

— Нет, нет.

— Ты меня поняла?

Она не поняла, он угадал это по ее слегка испуганному, извиняющемуся виду и повторил вопрос, четко выговаривая каждое слово:

— Вы никогда не жили вместе в Алжире?

— Нет, — ответила она.

---

[53] Примечания: 53

[b] Что в доме ели: жаркое из потрохов, рагу из трески, нут и т. п.

— А когда же папа ходил смотреть на казнь Пирета?

Он провел по горлу ребром ладони, чтобы она поняла. Мать быстро ответила:

— Да, да, он встал в три часа, чтобы попасть в тюрьму Барбароссы.

— Значит, вы жили в это время в Алжире?

— Да.

— Когда это было?

— Не знаю. Он работал у Рикома.

— До того, как вы уехали в Сольферино?

— Да.

Она говорила «да», но, возможно, все было и не так, ничего нельзя было узнать точно, пробиваясь в прошлое сквозь ее затуманенную память. Память у бедняков вообще не так богата, как у людей состоятельных, у них меньше вех в пространстве, поскольку они редко покидают места, где живут, меньше вех во времени, так как жизнь у них течет серо и однообразно. Существует, конечно, память сердца, которая считается самой надежной, но сердце изнашивается от труда и горя и под бременем усталости становится забывчивым. Утраченное время не исчезает бесследно только у богатых. У бедных оно оставляет лишь размытые следы на пути к смерти. К тому же, чтобы вы-

нести эту жизнь, лучше поменьше вспоминать, придерживаться течения дней, час за часом, как делала его мать, пусть отчасти и не по своей воле, ибо перенесенная в детстве болезнь (по словам бабушки, брюшной тиф. Но от брюшного тифа не бывает таких осложнений. Может быть, сыпной? Или что-то другое? Это тоже было покрыто мраком) обернулась для нее глухотой и затрудненной речью и помешала выучиться тому, чему учат даже самых обездоленных, принудив ее навсегда к безмолвному смирению, но это оказался и единственный доступный ей способ противостоять жизни: что ей оставалось другого, да и кто на ее месте придумал бы что-то лучше? Конечно, ему бы хотелось, чтобы она с жаром предалась воспоминаниям о человеке, умершем сорок лет назад, чью судьбу она разделяла (да и разделяла ли?) в течение пяти лет. Она была неспособна на это, он даже не был уверен в том, что она его страстно любила, во всяком случае, не мог спросить ее об этом прямо, ибо перед ней он тоже чувствовал себя немым и по-своему неполноценным, в глубине души ему не хотелось знать, что происходило между ними, в общем, надо было отказаться от мысли что-либо через нее выяснить. Даже эту историю, которая в детстве произвела на него

такое впечатление и преследовала потом всю жизнь, часто возвращаясь во сне, — о том, как отец встал в три часа ночи и пошел смотреть казнь знаменитого преступника, — он услышал от бабушки. Пирет был сельскохозяйственным рабочим на ферме в Сахеле, недалеко от Алжира. Он убил молотком своих хозяев и их троих детей. «Чтобы ограбить?» — спросил тогда Жак. «Да», — сказал дядя Этьен. «Нет», — сказала бабушка, но больше ничего объяснять не стала. В доме обнаружили изуродованные трупы, стены были забрызганы кровью до потолка, а под одной из кроватей нашли самого младшего из детей, он еще дышал, перед смертью он успел написать на побеленной стене, обмакнув палец в кровь: «Это Пирет». Бросились разыскивать убийцу и нашли его где-то в полях с помутившимся рассудком. Негодующая общественность потребовала для него смертной казни. Суд не пришлось уговаривать, и казнь состоялась в Алжире, перед тюрьмой Барбароссы, в присутствии большого скопления народа. Отец Жака встал затемно, чтобы присутствовать при показательном возмездии за преступление, которое, по словам бабушки, глубоко его возмутило. Никто так никогда и не узнал, что там произошло. Казнь, судя по всему,

совершилась без неожиданностей. Но отец Жака вернулся домой бледный как полотно, лег на кровать, несколько раз вскакивал и выходил, его рвало, потом он снова ложился. Он так и не захотел никому открыть ни тогда, ни потом, что он там видел. В тот вечер, когда Жаку рассказали про этот случай, он долго лежал в кровати, на самом краю, чтобы случайно не задеть брата, весь съежившись, и тоже едва сдерживал подступавшую от ужаса тошноту, снова и снова перебирая подробности, которые услышал от бабушки или вообразил сам. Всю жизнь потом эти видения преследовали его по ночам, и не часто, но регулярно ему снился кошмарный сон, который слегка видоизменялся, но тема была всегда одна и та же: за ним, Жаком, приходят, чтобы вести его на казнь. Много лет, просыпаясь, он стряхивал с себя оцепенение и ужас и с облегчением возвращался к уютной действительности, где не существовало ровно никакой вероятности, что его могут казнить. Пока он не стал взрослым и в истории не произошли сдвиги, поставившие казнь в ряд событий, напротив, вполне возможных, и он уже не испытывал облегчения, возвращаясь от снов к действительности, пронизанной в течение [определенных] лет той же самой тревогой,

которая терзала его отца и которую тот передал ему как единственное и неоспоримое наследство. Эта загадочная связь между ним и незнакомым человеком, похороненным в Сен-Бриё (который тоже, в общем, не думал, что может умереть насильственной смертью), не имела отношения к матери, хотя она знала про этот случай, видела, как отца рвало, но уже не помнила про то утро, равно как и не замечала, что времена переменились. Для нее времена всегда были одни и те же, чреватые непредсказуемыми бедами, готовыми обрушиться в любую минуту.

* * *

Бабушка[54], в отличие от нее, имела более трезвое представление о жизни. «Ты кончишь на эшафоте», — не раз говорила она Жаку. Почему бы нет, в этом не было теперь ничего невероятного. Она не могла этого предвидеть, но в силу склада своего ума ничему бы не удивилась. Прямая, похожая на прорицательницу в своем длинном черном платье, невежественная и непреклонная, она, во всяком случае, никогда не была покорной. Детство Жака прошло, в сущности, под ее

[54] Примечания: 54

[a] переход.

властью. Воспитанная родителями-маонцами[55] на маленькой ферме в Сахеле, она очень рано вышла замуж, тоже за маонца, худого и хрупкого, — его братья переселились в Алжир еще в 1848 году, после трагической гибели их деда по отцовской линии, который был подвержен поэтическому зуду и слагал стихи, разъезжая по острову верхом на ослице между невысокими каменными оградами чужих огородов. Во время одной из таких прогулок какой-то обманутый муж, введенный в заблуждение его широченной черной шляпой, принял его за своего обидчика и выстрелил ему в спину, убив по ошибке поэта и образцового семьянина, не оставившего, впрочем, ни гроша своим детям. Одним из отдаленных последствий этого трагического недоразумения было появление на алжирском побережье целого выводка его неграмотных потомков, которые продолжали там размножаться вдали от каких бы то ни было школ, зная лишь изнурительную работу под беспощадным солнцем. Но муж бабки, как свидетельствуют фотографии, унаследовал кое-что от своего вдохновенного деда и, судя по тонкому, правильному лицу с мечтательными

[55] Примечания: 55

[1] *Маонцы* — уроженцы города Маон на острове Менорка. — *Примеч. пер.*

глазами и высоким лбом, был явно не создан для того, чтобы противостоять молодой, красивой и энергичной жене. Она родила ему девять человек детей, из коих двое умерли в младенчестве, одна дочь еле выжила и почти перестала слышать, а самый младший родился чуть ли не глухонемым. Не переставая работать наравне со всеми, она растила на маленькой ферме свое потомство и, восседая во главе стола, неизменно держала при себе длинную палку, что избавляло ее от всяких ненужных замечаний, ибо провинившийся незамедлительно получал удар по голове. Она царила в семье, требуя почтения к себе и к мужу, и дети по испанскому обычаю должны были говорить им «вы». Но мужу не суждено было долго наслаждаться этим почетом: он скончался в расцвете лет, не выдержав жары и непосильного труда, а быть может, и своего супружества, и Жак так никогда и не дознался, от какой болезни он умер. Овдовев, бабушка продала ферму и переселилась в Алжир вместе с младшими детьми — старшие были отправлены на заработки, едва успев подрасти.

В те годы, когда Жак, став постарше, мог наблюдать ее, она была все такой же сильной и непреклонной: ни нужда, ни тяготы жизни не сломили

ее характера. К тому времени из всех детей при ней оставалось только трое: Катрин[56] Кормери, занимавшаяся поденной работой в чужих домах, младший, глухонемой, который уже вырос и стал богатырем-бочаром, и старший, Жозеф, холостяк, работавший на железной дороге. Все трое получали нищенское жалованье, на которое в сумме должна была прожить семья из пяти человек. Бабушка распоряжалась всеми деньгами в доме, и первое, что врезалось когда-то в сознание Жака, — это ее скупость, хотя скрягой она не была, ибо берегла деньги, как можно беречь воздух, которым дышишь.

Она сама покупала детям одежду. Мать возвращалась домой поздно, молча смотрела и слушала, и, подавленная напором бабушки, ни во что не вмешивалась. Поэтому Жак все детство проходил в плащах до пят, ибо бабушка покупала их на вырост, рассчитывая, что природа возьмет свое и плащ рано или поздно будет ему впору. Но Жак рос медленно и только годам к пятнадцати вытянулся по-настоящему, так что одежда снашивалась прежде, чем оказывалась ему хороша. Новую покупали, исходя из тех же принципов

[56] Примечания: 56

[1] Выше мать Жака Кормери названа Люси. В дальнейшем она будет именоваться Катрин.

экономии, и Жаку, которого дразнили однокашники, не оставалось ничего другого, кроме как перетягивать плащ поясом и носить с напуском, дабы сделать оригинальным то, что было смешным. Впрочем, эти краткие моменты стыда сразу же забывались в классе, где Жак вновь обретал превосходство, и в школьном дворе, ибо на футбольном поле он был царь. Однако это царство было запретным. Потому что двор в школе был цементный, и подметки снашивались там с такой быстротой, что бабушка запретила Жаку играть на переменах в футбол. Она покупала для внуков грубые, наглухо закрытые ботинки, которые казались ей вечными. Вдобавок, чтобы продлить их существование, она отдавала их в мастерскую, где их подбивали огромными гвоздями, имевшими целых два полезных свойства: они укрепляли подметку и с головой выдавали игрока в футбол. Беготня по цементному двору быстро изнашивала шляпки, и они приобретали блеск, мгновенно изобличавший виновного. Каждый вечер, придя домой, Жак должен был являться на кухню, где Кассандра священнодействовала над кастрюлями, и, задрав ногу подошвой вверх, как лошадь, которой меняют подкову, показывать свои подметки. Конечно, он не мог устоять

перед уговорами товарищей и искушением поиграть в любимую игру, поэтому все его усилия сосредотачивались не на стремлении к невозможной добродетели, а на сокрытии вины. После занятий в школе, а потом и в лицее, он подолгу тер подметки о мокрую землю. Иногда эта хитрость удавалась. Но рано или поздно приходил час, когда изношенность гвоздей становилась вопиющей, а то и сама подметка оказывалась подпорчена, или, что было уже полной катастрофой, из-за неудачного удара ногой по цементу или по железной решетке вокруг деревьев подметка просто отлетала, и Жак являлся домой в башмаке, перевязанном бечевкой. В такие вечера от «бычьей жилы» спасения не было. Вместо утешения мать говорила плачущему Жаку: «Ботинки ведь и правда стоят дорого. Почему ж ты их не бережешь?» Но она никогда не била своих сыновей. Назавтра Жака обували в тапочки, а башмаки несли к сапожнику. Он получал их дня через два сверкающими созвездием новых гвоздей и должен был заново учиться держать равновесие на неустойчивых скользких подметках.

Бабушка была способна зайти и гораздо дальше — даже теперь, спустя столько лет, Жак не мог вспомнить тот случай без спазма стыда и отвра-

щения.[57] Они с братом никогда не получали карманных денег, кроме тех редких, случаев, когда соглашались пойти в гости к своему дяде-коммерсанту или к тетке, удачно вышедшей замуж. К дяде — это было еще ничего, они его любили. Но тетка умела так подчеркнуть их бедность и свое относительное богатство, что мальчики предпочитали обходиться без денег и без удовольствий, которые на них можно купить, нежели чувствовать себя униженными. И все-таки, хотя море, солнце, уличные игры были радостями бесплатными, но хрустящая картошка, леденцы, арабские сладости и, что особенно было важно для Жака, возможность иногда сходить на футбол стоили денег, пусть всего несколько су. Однажды вечером Жак возвращался с покупками домой, неся на вытянутых руках противень с картофельной запеканкой, который он на обратном пути забрал у булочника (в доме у них не было ни газа, ни плиты, еду готовили на спиртовке. Соответственно, не было и духовки, и, когда требовалось что-нибудь испечь, приготовленное блюдо относили к булочнику по соседству, и тот за небольшую плату ставил его в печь и за

[57] Примечания: 57

* стыда, смешанного с отвращением.

ним присматривал). Запеканка дымилась прямо перед ним сквозь полотенце, прикрывавшее ее от пыли и позволявшее держать противень за края. На руке Жака болталась к тому же сетка с продуктами, которые покупались всегда в очень небольшом количестве (полфунта сахару, четверть фунта масла, на пять су тертого сыра и тому подобное), сетка была легкой, Жак быстро шагал, вдыхая вкусный запах запеканки и обходя прохожих, заполнявших в этот час улицы квартала. И тут через дырку в кармане у него выпала монетка в два франка и, звякнув, покатилась по тротуару. Жак поднял ее, пересчитал всю сдачу — она оказалась в целости — и переложил деньги в другой карман. «А ведь я мог потерять эту монетку», — внезапно подумал он. И мысль о завтрашнем футбольном матче, которую он до сих пор гнал от себя, снова завладела его умом.

Никто, в сущности, никогда не объяснял ему, что хорошо, а что дурно. Некоторые вещи делать запрещалось, и за нарушение полагалась суровая кара. Все прочее было разрешено. Только учителя в школе, когда оставалось время от урока, иногда говорили детям о нравственных законах, но и тут запреты оказывались более внятными, чем объяснения. Единственное, что было открыто Жа-

ку в плане морали, это повседневная жизнь его семьи, где явно никому не приходило в голову, что, кроме тяжкого труда, существуют какие-то иные способы добывать необходимые для жизни деньги. Но это служило уроком стойкости, а не нравственности. Тем не менее Жак знал, что утаить два франка нехорошо. И не хотел этого делать. Он не собирался этого делать, он мог, наверно, как в прошлый раз, пролезть между досками забора на старый стадион на плацу и посмотреть матч бесплатно. Поэтому он и сам не понимал, почему не отдал сразу принесенную сдачу, а вместо этого, сходив в уборную, объявил, что монета провалилась в дырку, когда он какал. Слово «уборная» звучало даже чересчур изысканно применительно к тесному закутку, оборудованному в углублении каменной стены на лестничной площадке их этажа. Ни воздуха, ни электричества, ни водопроводного крана там не было, было лишь небольшое возвышение, зажатое между дверью и стеной, и в нем — отверстие без сиденья, куда после пользования лили воду из бидонов. Это не спасало, однако, от непобедимой вони, распространявшейся оттуда на лестницу. Объяснение

Жака выглядело правдоподобным[58]. Оно избавляло его от неминуемого приказа отправляться на улицу искать потерянную монету и к тому же исключало всякое продолжение этой истории. Но когда он все это говорил, душа у него была не на месте. Бабушка резала чеснок и петрушку на старой искромсанной доске, потемневшей от долгого употребления. Она прервала свое занятие и посмотрела на Жака, который ожидал взрыва. Однако она молчала, глядя на него в упор своими холодными светлыми глазами. «Ты уверен?» — спросила она наконец. «Да, я почувствовал, как она вывалилась». Бабушка продолжала смотреть на него. «Хорошо, — сказала она. — Сейчас проверим». Жак с ужасом увидел, что она засучивает рукав, обнажая белую узловатую руку, и выходит на площадку. Он опрометью бросился в столовую, с трудом сдерживая тошноту. Наконец бабушка позвала его, и он застал ее перед раковиной: она отмывала руку, намыленную по локоть серым мылом. «Там ничего нет, — сказала она. — Ты меня обманул». — «Ее, наверно, смыло водой», — пробормотал он. Бабушка заколебалась. — «Может быть. Но если ты соврал, это не

[58] Примечания: 58

[a] Нет. Он уже однажды говорил, что потерял деньги на улице, поэтому ему пришлось искать другое объяснение.

пойдет тебе впрок». Да, это не пошло впрок, ибо в ту же самую минуту он понял, что вовсе не жадность заставила бабушку рыться в нечистотах, а чудовищная нужда, ибо в их доме два франка — это были деньги. Он вдруг отчетливо осознал, содрогаясь от стыда, что украл эти два франка из жалкого заработка своих близких. И даже сегодня, глядя на мать, сидевшую у окна, Жак не понимал, как он мог тогда не вернуть монету и, более того, с удовольствием смотреть на следующий день футбольный матч.

Воспоминания о бабушке были связаны для него и с минутами стыда менее оправданного. По ее настоянию, Анри, старший брат Жака, брал уроки игры на скрипке. Жак увильнул от этого, отговорившись тем, что от дополнительной нагрузки пострадают его успехи в школе. В конце концов его брат научился извлекать некоторое количество чудовищных звуков из безжизненной скрипки и даже играть, не слишком сильно фальшивя, модные песенки. Развлечения ради Жак, имевший приличный слух, выучил те же самые песни, никак не предполагая, что это невинное занятие будет иметь столь катастрофические последствия. По воскресеньям, когда бабушку на-

вещали ее замужние дочери[59], тоже солдатские вдовы, или сестра, которая по-прежнему жила где-то на ферме в Сахеле и охотнее говорила на маонском диалекте, чем по-испански, бабушка, поставив на стол большие чашки черного кофе, звала внуков и заставляла их давать домашний концерт. Они уныло несли в столовую металлический пюпитр и ноты популярных песен. Отступать было некуда. Жак, кое-как подстраиваясь к ковыляющему аккомпанементу Анри, пел «Рамону»: «Рамона, сон волшебный снился мне, что мы идем вдвоем по сказочной стране…» или: «Танцуй, танцуй, Джальме, душа летит к тебе…» Или еще, оставаясь в пределах восточной темы: «Ночи Китая нежно ласкают. Ночь любви, ночь томленья и упоенья…» Иногда специально для бабушки их просили исполнить «жизненную» песню. И Жак пел: «Ты ли это, мой друг дорогой, что поклялся быть вечно со мной, обещал, что с тобой, как в раю, я слезы ни одной не пролью». Эта песня, кстати, была единственная, которую Жак пел с искренним чувством, потому что героиня в конце повторяла свой припев среди толпы, собравшейся на казнь ее ветреного лю-

[59] Примечания: 59

[a] племянницы.

бовника. Но особое пристрастие бабушка питала к песне, где ее, видимо, привлекали задушевность и нежность, начисто отсутствовавшие в ее собственной натуре. Это была «Серенада» Тозелли, и они исполняли ее не без блеска, хотя алжирский акцент, разумеется, никак не сочетался с описанием чарующих минут, о которых пелось в песне. В солнечный послеобеденный час четыре или пять женщин в черном, снявших — все, кроме бабушки, — свои черные испанские платки, сидели в бедно обставленной комнате с белыми стенами и одобрительно кивали в особо патетических местах, подбадривая исполнителей, пока бабушка, не умевшая отличить «до» от «си» и вообще не знавшая названия нот, не прерывала вдруг их священнодействие кратким: «Соврал!», отчего у артистов мгновенно пропадал лирический настрой. Они заново повторяли неудачное место. «Так!» — говорила бабушка, когда коварный пассаж был исполнен, на ее взгляд, удовлетворительно, публика кивала и в заключение награждала аплодисментами юных виртуозов, которые спешно убирали свои принадлежности и пулей вылетали из дому, чтобы присоединиться к друзьям на улице. Только Катрин Кормери, сидя в углу, не произносила

ни слова. Жак до сих пор помнил одно из таких воскресений, когда, уже выходя из комнаты с нотами под мышкой, он услышал, как в ответ на чьи-то комплименты в его адрес мать сказала: «Да, он хорошо спел. Он умный», — как будто одно с другим было как-то связано. Но, обернувшись, он понял эту связь. Нежный взгляд матери, взволнованный, лихорадочный, был устремлен на него с таким выражением, что он попятился, замер в нерешительности и убежал. «Она меня любит. Она меня все-таки любит», — мысленно твердил он себе на лестнице, вдруг осознав, что сам любит ее безумно и всегда страстно хотел быть любимым ею, но до сих пор не был уверен, что это возможно.

Еще хуже было в кино… Торжественный выход тоже происходил по воскресеньям, а иногда и по четвергам. Ближайший кинотеатр находился в нескольких шагах от дома и носил имя поэта-романтика, в честь которого была названа и улица. Чтобы войти туда, надо было пробиться сквозь беспорядочные ряды арабских лотков, где лежали вперемешку горки арахиса, соленого и поджаренного нута, люпиновых семечек, длинных леденцов ядовитого цвета и липких «кисленьких» карамелек. Кто-то продавал яркие разноцветные

сладости и среди прочего огромные витые пирамиды из крема, посыпанные розовой сахарной пудрой, кто-то — арабские блинчики, сочащиеся маслом и медом. Вокруг лотков вились тучи мух и детей, слетавшихся на одни и те же сладости, они гудели и верещали, гоняясь друг за другом под брань торговцев, опасавшихся за свои лотки и отгонявших одним и тем же жестом и мух, и детвору. Кое-кому из лоточников удавалось захватить место под стеклянным навесом кинотеатра, тянувшимся вдоль одной из стен, другим приходилось раскладывать свои тающие сокровища под горячим солнцем, в клубах пыли, поднятой детской возней. Жак шел с бабушкой, которая по такому случаю гладко зачесывала назад седые волосы и пристегивала к своему вечному черному платью серебряную брошку. Она властно отстраняла крикливую ребятню, толпившуюся у входа, подходила к единственной кассе и спрашивала билеты на «нумерованные» места. По правде говоря, выбор был только между этими «нумерованными» жесткими креслами, с громко хлопавшим откидным сиденьем, и длинными лавками, куда, толкаясь и ссорясь из-за мест, забирались дети — им открывали боковую дверь в самый последний момент. По обе стороны

от этих скамеек стояли полицейские с хлыстами, они блюли порядок в своем секторе и нередко выводили из зала какого-нибудь мальчишку или даже взрослого за чересчур шумное поведение. Кино тогда было немое: сначала показывали хронику, потом короткометражную комедию, за ней большой фильм и, наконец, сериал — по одной серии в неделю. Бабушка особенно любила эти раздробленные эпопеи, где каждая серия обрывалась на самом интересном месте. Мускулистый герой с раненой белокурой красавицей на руках вступает на подвесной мост из лиан, раскачивающийся высоко над каньоном, где течет бурный поток. А в самом последнем кадре еженедельной порции мы видим, как татуированная рука огромным дикарским ножом режет лианы, на которых держится мост. Герой продолжает бесстрашно идти вперед по мосту, невзирая на предупредительный рев «скамеек»[60]. Вопрос был не в том, спасутся ли они, поскольку сомнения на этот счет исключались, главное было узнать, как именно это произойдет, и множество зрителей, французов и арабов, ради этого снова приходили в кино через неделю, дабы

[60] Примечания: 60

[a] Ривеччо.

увидеть, как летящие в пропасть влюбленные избегнут верной гибели, зацепившись за чудом подвернувшееся дерево. Показ сопровождался фортепианной игрой пожилой барышни, которая противопоставляла гоготу «скамеек» бесстрашную неподвижность худощавой спины, похожей на бутылку минеральной воды, прикрытую белой ажурной салфеткой. Жаку казалось тогда признаком особого аристократизма то, что эта колоритная особа не снимала митенок даже в самую нестерпимую жару. Впрочем, задача ее была не так проста, как могло показаться. Особенно во время хроники, когда ей приходилось менять мелодию в зависимости от характера событий. Так, она без паузы переходила от веселой кадрили, которой сопровождалась демонстрация весенних мод, к траурному маршу Шопена, когда на экране возникали кадры наводнения в Китае или похорон какой-нибудь важной персоны государственного или мирового значения. Но что бы ни происходило на экране, ее исполнение было неукоснительным, как будто десять маленьких молоточков совершали на старой пожелтелой клавиатуре некие механические операции, давным-давно отлаженные точным прибором. В зале с голыми стенами и горами ореховой скор-

лупы стоял запах крезола, смешанный с острым запахом человеческого тела. Ей удавалось разом пресечь оглушительный гам, придавив педали к полу и обрушив на зал громкую прелюдию, которая должна была создать атмосферу раннего утра. Чудовищный треск возвещал о том, что проекционный аппарат запущен, и тут для Жака начиналась каторга. Фильмы, хотя и были немыми, сопровождались большим количеством титров, имевших целью объяснить смысл происходящего. Поскольку бабушка была неграмотна, Жаку приходилось все это ей читать. Несмотря на возраст, слух у нее был отличный. Но все равно требовалось перекричать, во-первых, музыку, а во-вторых, шум зала, реагировавшего на зрелище весьма бурно. И хотя тексты были крайне просты, там попадалось довольно много слов, для бабушки непривычных, а то и вовсе ей неизвестных. Не желая мешать соседям, но главное, боясь, как бы весь зал не узнал, что бабушка не умеет читать (иногда она сама, вдруг застеснявшись, громко говорила перед началом сеанса: «Ты будешь мне читать, я забыла очки»), Жак читал текст тише, чем нужно. В результате бабушка половины не разбирала и просила повторить, причем громче. Жак читал громче, на него со всех сторон шикали,

он сгорал от какого-то гадкого стыда, сбивался, бабушка его ругала, а вскоре появлялся новый текст, еще более непонятный для бедной старухи, не усвоившей предыдущего. Все запутывалось еще больше, пока наконец Жак не выходил из положения, сведя к одной фразе решающий эпизод, например, «Знака Зорро» с Дугласом Фэрбенксом. «Злодей хочет похитить у него девушку», — твердо и четко выговаривал Жак, воспользовавшись паузой в музыке или затишьем в зале. Все прояснялось, фильм продолжался, мальчик мог перевести дух. Как правило, неприятности этим и ограничивались. Но некоторые фильмы, вроде «Двух сироток», были действительно слишком сложны, и, обезумев от настойчивых требований бабушки и все более сердитых замечаний соседей, Жак в конце концов просто умолкал. Он до сих пор помнил один из таких сеансов, когда бабушка вне себя вышла из зала, не досмотрев фильм, а он плелся за ней, заливаясь слезами и страдая от мысли, что погубил одно из редких удовольствий в ее жизни и те жалкие деньги,

которые были за это заплачены[61].

Мать в кино не ходила. Она тоже не умела читать и вдобавок почти ничего не слышала. К тому же запас слов у нее был еще более скудным, чем у бабушки. Даже теперь она жила без всяких развлечений. За сорок лет она была в кино дважды, ничего не поняла и только сказала, не желая огорчать тех, кто ее пригласил, что все платья очень красивые, а у усатого свирепый вид. Не могла она и слушать радио. Разве что иногда листала иллюстрированные журналы, просила сыновей или внучек объяснить, что изображено на фотографиях, приходила к выводу, что у английской королевы печальное лицо, закрывала журнал и снова смотрела все в то же окно на ту же улицу, на которую смотрела половину своей жизни[62].

---

[61] Примечания: 61

[a] добавить приметы нищеты — безработица — летний лагерь для детей в Милиане — сигнал рожка — исключен — Не решается об этом сказать. Говорит: Что ж, попьем вечером кофе. Иногда нужно разнообразие. Он смотрит на нее. Ему часто приходилось читать рассказы о бедных людях, где женщина держится мужественно. Она не улыбнулась. Она ушла на кухню, мужественная — не сломленная.

[62] Примечания: 62

[a] Ввести *состарившегося* дядю Эрнеста, *до этого* — его портрет в комнате, где сидят Жак и его мать. Или чтобы он пришел *потом*.

Этьен

В каком-то смысле, она была даже дальше от жизни, чем ее брат Эрнест[63], живший вместе с ними, хотя, в отличие от нее, он был совершенно глухой и объяснялся с помощью звукоподражаний, жестов да нескольких десятков простейших слов. Зато Эрнест, который в детстве не годился для работы, все-таки какое-то время ходил в школу и научился разбирать буквы. Иногда он отправлялся в кино и рассказывал потом удивительные вещи, ошеломлявшие тех, кто уже видел фильм, ибо богатство воображения восполняло пробелы в понимании. Он был неглуп и даже по-своему хитер, инстинктивная природная сообразительность помогала ему ориентироваться в жизни и общаться с людьми, хотя они были погружены для него в непроницаемое безмолвие. Благодаря все той же сообразительности, он мог каждый день просматривать газеты, где прочитывал крупные заголовки, и имел хоть какое-то представление о том, что творится в мире.

---

[63] Примечания: 63

[1] Где-то он назван Эрнестом, где-то Этьеном, но это всегда один и тот же персонаж — дядя Жака.

«Гитлер, — к примеру говорил он Жаку, когда тот стал взрослым, — это плохо, а?» Да, ничего не скажешь, это было плохо. «От этих бошей один вред», — прибавлял дядя. Нет, тут Жак был не согласен. «Бывают, конечно, и хорошие, — кивал дядя. — Но Гитлер — это плохо». И сразу же его насмешливый нрав брал верх: «Леви (галантерейщик напротив) трясется со страху». Он фыркал от смеха. Жак принимался объяснять. Дядя снова становился серьезным: «Да. Почему он хочет вредить евреям? Они такие же люди, как все».

Он всегда любил Жака на свой лад. Восхищался его успехами в школе. Жесткой, заскорузлой от работы рукой трепал мальчика по голове. «Умная голова. Упрямая, — он постукивал себя по лбу здоровенным кулаком, — но умная». И иногда добавлял: «Как у отца». Однажды, воспользовавшись случаем, Жак спросил у него, умный ли человек был его отец. «Твой отец был упрямый. Все делал по-своему. Мать — «да», всегда «да». Больше ничего вытянуть из него не удалось. Эрнест часто брал мальчика с собой, когда куда-нибудь шел. Его сила и внутренняя мощь, которые не могли найти выражения в разговорах и сложных отношениях общественной жизни, прорывались в жизни тела и чувств. Когда его,

спящего, как все глухие, беспробудным сном, расталкивали по утрам, он вскакивал, ошалело озирался и мычал: «У-у, у-у», словно доисторический зверь, который просыпается каждый день в неведомом и враждебном мире. Зато, наконец опомнившись, он уверенно ощущал себя на земле, благодаря своему телу и его отправлениям. Несмотря на нелегкое ремесло бочара, он любил плавать и охотиться. Он брал с собой Жака, еще совсем маленького[64], на пляж Саблет, сажал его себе на спину и заплывал с ним очень далеко примитивным, но сильным брассом, испуская нечленораздельные крики, выражавшие сначала недовольство холодной водой, потом наслаждение от погружения в нее или раздражение от встречной волны. Время от времени он говорил Жаку: «Не бойся». Жак боялся, однако молчал, завороженный безлюдьем между двух одинаково огромных пустынь воды и неба, но когда он оглядывался назад и видел берег, превратившийся в едва различимую линию, у него сводило живот от сосущего страха, и на грани паники он представлял себе темную, бездонную глубь, в которую он уйдет как камень, если только

[64] Примечания: 64

[a] 9 лет.

дядя не удержит его. В такие минуты он крепко сжимал мускулистую шею пловца. «Тебе страшно», — тут же говорил дядя. «Нет, но давай лучше вернемся». Дядя покорно поворачивал, коротко переводил дух и плыл назад к пляжу, так же уверенно, как если бы под ним была твердая земля. На берегу, быстро отдышавшись, он с громким хохотом растирал Жака сильными руками, потом отворачивался и шумно мочился, по-прежнему смеясь и выражая вслух радость от прекрасной работы своего мочевого пузыря: он похлопывал себя по животу и повторял свое вечное «Хорошо, хорошо», коим у него сопровождались все приятные ощущения, независимо от того, были они связаны с едой или испражнением, причем в обоих случаях он с одинаковой непосредственностью демонстрировал получаемое удовольствие, постоянно желая поделиться им с близкими, что нередко вызывало за столом возмущение бабушки — она, разумеется, находила естественными разговоры об этих вещах и говорила о них сама, но, как она выражалась, «не за столом», хотя и терпела дядины представления с арбузом, имеющим, как известно, сильные мочегонные свойства: Эрнест обожал арбузы и приступал к их уничтожению со смешками, хитрыми подмиги-

ваниями в адрес бабушки и разными громкими звуками — чмоканьем, урчанием, чавканьем, а после первых кусков, которые он откусывал от огромного ломтя, начиналась главная пантомима, когда он недвусмысленно показывал руками, как прекрасный розовый плод продвигается у него внутри от языка к мочеиспускательному органу, и его лицо при этом выражало наслаждение — он гримасничал, выкатывал глаза и приговаривал: «Хорошо, хорошо. Там все промоется. Хорошо, хорошо», — так что все в конце концов, не выдержав, покатывались со смеху. С той же первобытной непосредственностью он приходил в волнение из-за массы каких-то мимолетных недомоганий, на которые то и дело жаловался, хмуря брови и устремив взор в глубь себя, словно всматривался в загадочную тьму собственной утробы. Он объявлял, что у него где-нибудь «колет», причем в самых неожиданных местах, или что у него внутри «комок», который тоже мог оказаться в любой части тела. Позже, когда Жак начал ходить в лицей, дядя, убежденный, что наука одна на все случаи жизни, спрашивал его, указывая на поясницу: «Тут ноет. Это плохо?» Нет, Жак ничего страшного не находил. Дядя вздыхал с облегчением, быстро сбегал вниз по лестнице

и присоединялся к приятелям в каком-нибудь из ближайших кафе с деревянными столами и оцинкованной стойкой, где пахло опилками и анисом и куда Жак заходил за ним, чтобы позвать его ужинать. Жак не без удивления смотрел на этого глухонемого, который восседал за стойкой в окружении друзей и разглагольствовал до изнеможения под всеобщий смех, нисколько для него не обидный, ибо товарищи обожали Эрнеста за щедрость и веселый нрав[65][66][67][68].[69]

Жак чувствовал это, когда дядя вместе со своими друзьями — бочарами, портовыми рабочими или железнодорожниками — брал его с собой на охоту. В такие дни они вставали на рассвете. Жаку поручалось разбудить спавшего в столовой дядю, которого никакой будильник разбудить не

---

[65] Примечания: 65

[a] Деньги, которые он откладывал, а потом все отдал Жаку.

[66] Примечания: 66

[b] Среднего роста, с кривоватыми ногами и чуть сутулой спиной под плотным панцирем мышц, он выглядел худощавым, но в нем чувствовалась необычайная мужская сила. При этом лицо его было — и оставалось еще долгие годы — совсем юным, тонким, правильным, чуть []1, с красивыми, как у его сестры, карими глазами, безукоризненно прямым носом, чистой линией бровей, правильным подбородком и прекрасными волосами, густыми и кудрявыми — нет, слегка волнистыми. Только его мужской красотой можно объяснить тот факт, что у него было даже несколько приключений с женщинами — разумеется, эти связи не могли привести к браку и длились недолго, однако порой они как бы окрашивались тем, что принято называть любовью, например, его история с замужней хозяйкой одного из кафе, — иногда по субботам

он брал с собой Жака на концерты в приморский сквер Брессон, где военный оркестр играл на эстраде «Корневильские колокола» или мелодии из «Лакме», а принаряженный Эрнест, прогуливаясь в толпе вокруг [], старался почаще попадаться навстречу жене владельца кафе, одетой в чесучовое платье, и они обменивались улыбками, а ее муж по-дружески перекидывался с Эрнестом несколькими фразами, естественно, не подозревая в нем возможного соперника.

[67] Примечания: 67

[c] прачечная, муна (обведено автором. — *Примеч. изд.*).

[68] Примечания: 68

[d] пляж, белые деревяшки, пробки от бутылок, обточенные морем черепки… кора, тростник.

[69] Примечания: 69

[1] Слово зачеркнуто.

мог. Сам Жак поднимался по звонку, брат, что-то бурча, переворачивался на другой бок, а мать, не просыпаясь, тихонько шевелилась на соседней кровати. Он вставал в темноте, на ощупь чиркал спичкой и зажигал маленькую керосиновую лампу, стоявшую на ночном столике между кроватями. (Ах, обстановка той комнаты: две железные кровати, односпальная, где спала мать, и двуспальная, где спали они с братом, между ними общий ночной столик и напротив него — зеркальный шкаф. В ногах материнской кровати было окно, выходившее во двор. Под этим окном стоял большой фибровый сундук, покрытый ажурным нитяным покрывалом. Пока Жак не подрос, ему приходилось забираться на этот сундук, чтобы закрыть ставни. И ни одного стула.) Потом он шел в столовую и расталкивал дядю, тот рычал, уставившись безумным взглядом на лампу, и наконец приходил в себя. Они одевались. Жак разогревал остатки кофе на маленькой спиртовке в кухне, а дядя собирал рюкзаки, укладывая в них провизию — сыр, копченые колбаски, помидоры с солью и перцем и полбуханки хлеба, разрезанного вдоль, куда засовывался большой омлет, приготовленный бабушкой накануне. Потом дядя в последний раз проверял двустволку

и патроны, вокруг которых накануне вечером происходила целая церемония. После ужина со стола все убирали и тщательно вытирали клеенку. Дядя, усевшись, торжественно раскладывал перед собой, при свете подвесной керосиновой лампы, части разобранного ружья и старательно их смазывал. Жак, сидя напротив, ждал своей очереди. Пес Брийян тоже. Ибо в доме был пес, дворняга с примесью сеттера, доброты невероятной, неспособный обидеть даже насекомое, что он наглядно демонстрировал, если ему случалось заглотнуть на лету муху: он немедленно выплевывал ее с видом глубокого отвращения, отфыркиваясь и помогая себе языком. Эрнест и пес были неразлучны и жили душа в душу. При взгляде на них невольно возникала мысль о семейной чете (только человек, не знающий и не любящий собак, может усмотреть в этом насмешку). Собака платила человеку послушанием и любовью за его заботу, которую ей не приходилось ни с кем делить. Они жили одной жизнью, никогда не расставаясь, вместе спали в столовой (человек на диване, собака на старом коврике, затертом до дыр), вместе ходили на работу (собака дремала на ложе из стружек, сооруженном специально для нее под верстаком), вместе про-

водили вечера в кафе, и собака терпеливо ждала, устроившись у ног хозяина, пока он перестанет разглагольствовать. Они объяснялись непонятными звуками и любили запах друг друга. Лучше было не говорить Эрнесту, что от его любимца, которого редко мыли, несет псиной, особенно после дождя. «Ничем от него не несет», — отвечал он и нежно обнюхивал большие подрагивающие собачьи уши. Охота для них обоих была особым праздником, утонченным прожиганием жизни. Стоило Эрнесту достать рюкзак, как пес пускался в бешеную скачку по тесной столовой, опрокидывая задними ногами стулья и колотя хвостом по стенкам буфета. Эрнест смеялся: «Он понял, понял», — потом призывал пса к порядку, и тот, положив свою большую морду на стол, следил за всеми приготовлениями, время от времени тихо зевая, но не сводя глаз с этого восхитительного зрелища до самого конца[70][71].

Собрав ружье, дядя передавал его Жаку. Жак почтительно принимал его и, вооружившись старой шерстяной тряпкой, до блеска натирал

---

[70] Примечания: 70

[a] охота? Можно убрать.

[71] Примечания: 71

[b] надо, чтобы в книге чувствовалась весомость предметов и человеческой плоти.

стволы. Тем временем Эрнест готовил патроны. Он раскладывал на столе ярко раскрашенные картонные гильзы с медным донцем, хранившиеся в мешочке, из которого он вынимал еще какие-то металлические сосуды, вроде фляг, где лежали порох, дробь и пучки темного войлока. Он тщательно набивал гильзы порохом и войлоком. Потом вытаскивал машинку, куда вставлялись патроны, и маленькая ручка приводила в движение механизм, который скатывал верхнюю часть картонной гильзы до того места, где был войлок. Готовые патроны Эрнест передавал один за другим Жаку, и тот благоговейно укладывал их в патронташ. Когда наутро Эрнест надевал тяжелый патронташ на разбухший от двух свитеров живот, это было сигналом к выходу. Жак помогал Эрнесту застегнуть пряжку сзади. А Брийян, который исходил от нетерпения, но до сих пор лишь молча сновал взад и вперед, приученный сдерживать свое ликование, чтобы никого не разбудить, вставал перед хозяином на задние лапы, клал передние ему на грудь и, вытягивая изо всех сил шею, пытался крепко и от души лизнуть любимое лицо.

В чуть поредевшей темноте они выходили на улицу, где витал свежий запах фикусов, и быст-

ро шли к вокзалу Аги, а пес зигзагами мчался вперед, скользя с разбегу по мокрым от ночной сырости тротуарам, потом так же быстро бежал назад, перепугавшись, что потерял их — Этьена, шагавшего с рюкзаком, ягдташем и ружьем в брезентовом чехле, и Жака, который нес за плечом большую холщовую сумку, засунув руки в карманы коротких штанов. На вокзале их уже ждали друзья, тоже с собаками, покидавшими хозяев лишь ради того, чтобы быстро заглянуть под хвост своим собратьям. Там были Даниель и Пьер[72], два брата, товарищи Эрнеста по мастерской: Даниель — жизнерадостный, вечно смеющийся, Пьер — более сдержанный, более методичный, склонный рассматривать факты с разных сторон и судить осмотрительно о жизни и людях. Еще был Жорж, который работал на газовом заводе и иногда участвовал в боксерских поединках, что давало ему некоторый дополнительный доход. Часто бывали еще два-три человека, все симпатичные — во всяком случае, в этой ситуации, — счастливые оттого, что удалось сбежать на денек от мастерской, от тесной квартиры, в которой негде повернуться, а ино-

[72] Примечания: 72

[a] внимание, изменить имена.

гда и от жены, раскованные и полные веселой снисходительности друг к другу, свойственной мужчинам, когда они собираются своей компанией для короткого и буйного развлечения. Вся компания бодро забиралась в вагон, где у каждого купе был свой выход на перрон, передавали друг другу рюкзаки, помогали подняться собакам, потом рассаживались, радуясь, что сидят наконец рядом, разделяя общее тепло. В такие воскресенья Жак узнал, что мужская компания — хорошая вещь и может дать пищу сердцу. Поезд трогался, потом набирал скорость, чуть попыхивая и изредка издавая короткий сонный гудок. Некоторое время он шел через Сахель, и, когда начинались поля, мужчины, такие большие и шумные, вдруг почему-то умолкали и смотрели, как занимается день над тщательно перепаханными землями, где клочья утреннего тумана цеплялись за высокие тростниковые изгороди, служившие границей между полями. Временами в окно вплывали купы деревьев вместе с выбеленной известью фермой, которую они укрывали и где сейчас все спало. Из рва, тянувшегося вдоль насыпи, вдруг выпархивала потревоженная птица, она взлетала до высоты окна и летела в том же направлении, что и поезд, словно пыталась

состязаться с ним в скорости, потом вдруг резко сворачивала в сторону, и тогда казалось, будто она внезапно оторвалась от вагонного окна и ее отбросило назад встречным ветром. Зеленый горизонт розовел, потом сразу делался красным, появлялось солнце и на глазах поднималось над землей. Оно поглощало туманы на полях, поднималось еще, и в купе внезапно становилось жарко: мужчины снимали сначала один свитер, потом второй, приказывали лежать зашевелившимся вдруг собакам, начинали шутить, и Эрнест принимался рассказывать на свой манер какие-нибудь истории о еде, о болезнях или [о] драках, в которых он всегда оказывался победителем. Время от времени один из спутников спрашивал у Жака что-нибудь про школу, потом заговаривал о другом или выражал восхищение мимикой Эрнеста: «Дядька твой — просто орел».

Пейзаж менялся, становился более гористым, вместо апельсиновых деревьев появлялись дубы, и маленький поезд пыхтел изо всех сил, выбрасывая большие клубы пара. Внезапно делалось холоднее, потому что солнце заслоняла гора, и все вдруг вспоминали, что еще нет и семи часов. Наконец раздавался последний свисток, поезд замедлял ход, медленно брал крутой поворот и

выезжал в лощину к маленькой одинокой станции, пустынной и тихой, которая обслуживала только горные шахты, ее окружали огромные эвкалипты с серповидными листьями, дрожавшими от утреннего ветерка. Высадка происходила в такой же шумной суматохе, собаки скатывались кубарем, не попадая лапами на крутые вагонные ступеньки, люди снова вставали в цепочку и передавали друг другу ружья и рюкзаки. Но при выходе со станции, расположенной прямо у подножия первых горных склонов, безмолвие дикой природы постепенно поглощало восклицания и крики, маленький отряд в конце концов затихал и молча поднимался в гору, а собаки неутомимо петляли вокруг хозяев. Жак не позволял себе отставать от своих могучих спутников. Даниель, его любимец, забирал у него сумку, несмотря на все его протесты, но ему все равно приходилось делать усилие, чтобы держаться рядом со всеми, и острый утренний воздух обжигал ему легкие. Примерно через час они выбирались наконец на большое плато с пологими холмами, поросшее карликовыми дубами и можжевельником, где огромное прохладное небо, слегка освещенное солнцем, раскинуло во всю ширь свои просторы. Это и было место охоты. Собаки, не дожидаясь

команды, возвращались к хозяевам. Охотники договаривались о встрече — обед назначался в два часа в сосновой рощице, где имелся небольшой, удобно расположенный источник на краю плато и открывался вид на лощину и на равнину вдали. Сверяли часы. Затем разбивались по двое, подзывали собак и расходились в разные стороны. Эрнест и Даниель охотились вместе. Жаку вручался ягдташ, который он бережно надевал на плечо. Эрнест издали кричал остальным, что принесет больше дичи, чем все они вместе взятые. Охотники смеялись, махали на прощание рукой и исчезали.

И тут для Жака начиналось хмельное счастье, о котором он до сих пор вспоминал со сладостным сожалением. Мужчины шагали на расстоянии двух метров, но не отставая друг от друга, собака впереди, а Жак сзади — дядя то и дело оглядывался и хитрым, каким-то вдруг диковатым взглядом следил, соблюдает ли он дистанцию. Это была бесконечная безмолвная ходьба по горным зарослям, откуда раздавался иногда пронзительный крик не нужной охотникам птицы, спуски в небольшие ложбинки, полные запахов, где они какое-то время шли низом, а потом вновь поднимались к солнцу, лучезарно сиявшему и все более

и более горячему, так что от него буквально на глазах высыхала земля, еще влажная в начале пути. Выстрелы по ту сторону ложбины, отрывистое хлопанье крыльев, взлет стайки пыльно-серых куропаток, поднятых собакой, двойной выстрел, и сразу же за ним такой же второй, стремительный бег пса и его возвращение — с обезумевшими глазами и окровавленной пастью, откуда свешивался ком перьев: его осторожно забирали Эрнест и Даниель, а секунду спустя получал Жак со смесью восторга и ужаса; потом были поиски других подстреленных птиц, упавших на их глазах, гиканье Эрнеста, похожее порой до неузнаваемости на лай Брийяна, и снова ходьба через кустарники, под солнцем, от которого Жак уже начинал изнемогать, несмотря на соломенную шляпу, а земля вокруг глухо вибрировала, как наковальня под молотом солнца, и снова выстрелы, один или два, редко больше, ибо только один из охотников успевал заметить улепетывающего кролика или зайца, заранее обреченного, если он попадался на глаза Эрнесту, ловкому и проворному, словно обезьяна, и бегущему в таких случаях едва ли не быстрее своего пса, с таким же рычанием, как и он, чтобы поднять убитого зверя за задние лапы и показать издали Даниелю и Жаку, которые под-

бегали к нему, ликующие и запыхавшиеся. Жак широко раскрывал ягдташ для нового трофея, и опять шагал дальше, пошатываясь под солнцем, весь в его власти, и так нескончаемыми часами, по бесконечным холмам, когда голова пылала от ослепительного сверкания, взор терялся в огромных пространствах неба, и Жак чувствовал себя самым богатым из всех мальчишек в мире. Возвращаясь на обед к месту встречи, они еще продолжали высматривать дичь, но уже без азарта. Шли медленно, утирая лбы, всем хотелось есть. Охотники подходили пара за парой, издали показывая друг другу свою добычу, дразнили тех, кто возвращался с пустыми руками, смеясь, утверждали, будто это всегда одни и те же, рассказывали наперебой о своих подвигах, и у каждого было что прибавить. Но главным сказителем был Эрнест, ему в конце концов удавалось всех переговорить, и он жестами, точность которых Жак и Даниель вполне могли оценить, показывал, как взлетели куропатки и как кролик, удирая, описал две петли и покатился кубарем, словно игрок в регби, приземляющийся с мячом за линией ворот. Тем временем Пьер методично разливал анисовку по металлическим кружкам, которые он брал у каждого, и доливал ключевой водой

из источника, тихо журчавшего в корнях сосен. Сооружалось некое подобие стола, расстилались кухонные полотенца, и каждый доставал свои припасы. Эрнест, обладавший кулинарными талантами (летом на рыбалке он всегда варил рыбную похлебку с чесноком и был так щедр на пряности, что во рту вспыхивал настоящий пожар), затачивал тонкие палочки, насаживал на них кусочки копченых колбасок и поджаривал на тлеющем костре, пока они не лопались и из них не начинал капать красный сок, треща и вспыхивая на углях. Он раздавал друзьям горячее ароматное угощение, вкладывая каждую порцию между двумя ломтями хлеба, все разбирали их с возгласами восхищения и ели, запивая розовым вином, заранее охлажденным в роднике. Потом начиналось веселье, рассказы о смешных случаях на работе, шутки, которые обессилевший Жак, с грязными, липкими руками и ртом, едва слушал, ибо его одолевал сон. На самом деле, спать хотелось всем, еще какое-то время они сидели разморенные, бездумно глядя на долину, покрытую маревом зноя, или попросту засыпали, как Эрнест, прикрыв лицо носовым платком. Но в четыре надо было спускаться, чтобы успеть к поезду пять тридцать. И вот они уже сидели в ку-

пе, притихшие от усталости; изнуренные собаки спали под сиденьями или у ног хозяев тяжелым сном, полным кровавых сновидений. Когда поезд выезжал на равнину, солнце уже клонилось к закату и наступали короткие африканские сумерки, стремительно сменявшиеся тьмой, всегда тревожной на этих бескрайних пространствах. Потом, на вокзале, торопясь домой, чтобы пораньше поужинать и успеть выспаться перед завтрашним рабочим днем, они наспех прощались в темноте, почти без слов, крепко хлопая друг друга по спине. Жак слышал их удалявшиеся шаги, ловил звуки добрых грубоватых голосов — он их всех любил. Потом он догонял Эрнеста, который, казалось, не чувствовал усталости, тогда как Жак еле волочил ноги. Возле дома, на темной улице, дядя оборачивался к нему: «Ну, тебе понравилось?» Жак не отвечал. Дядя смеялся и свистом подзывал собаку. Но через несколько секунд мальчик вкладывал свою маленькую руку в жесткую от мозолей руку дяди, и тот крепко сжимал ее. Так они и шли молча до самого дома.

[73][74] Однако Эрнест был способен и на вспышки ярости, такой же спонтанной и необузданной, как его радость. Урезонивать его или даже просто пытаться вставить слово не имело никакого смысла: это было все равно, что спорить со стихией. Когда собирается гроза, надо ее переждать. Другого пути нет. Как у многих глухих, у Эрнеста было прекрасное обоняние (не считая тех случаев, когда речь шла о его собаке). Это свойство доставляло ему немало радостей, когда он нюхал гороховый суп или свои любимые блюда — кальмаров в собственном соку, омлет с сосисками или рагу из говяжьих потрохов, куда входили сердце и легкие, — шедевр бабушкиной кулинарии, «бургиньон» для бедных, который, благодаря его дешевизне, часто бывал у них на столе, — или когда опрыскивался по воскресеньям дешевым одеколоном или лосьоном под названием [Помперо] (им пользовалась и мать Жака), с нежным и стойким запахом бергамота, постоянно витавшим в столовой и в волосах Эрнеста, который,

---

[73] Примечания: 73

[a] Толстой или Горький (I) *Отец.* Из этой среды вышел Достоевский (II) *Сын*, который, возвращаясь к истокам, становится писателем (III) *Мать*.

[74] Примечания: 74

[b] Месье Жермен — Лицей — религия — смерть бабушки — в конце рука Эрнеста?

прежде чем подушиться, нюхал флакон с выражением блаженства на лице… Но столь обостренная чувствительность причиняла ему и неудобства. Он не выносил некоторых запахов, неощутимых для человека с нормальным обонянием. Например, у него была привычка обнюхивать перед едой свою тарелку, и он ужасно сердился, если, как он утверждал, она пахла яичницей. Бабушка брала у него подозрительную тарелку, нюхала ее, объявляла, что она ничем не пахнет, и передавала дочери, чтобы та подтвердила. Катрин Кормери поводила изящным носом над фарфором и, даже не принюхиваясь, мягко говорила: нет, тарелка ничем не пахнет. Дабы прийти к окончательному мнению, они все обнюхивали по очереди свои тарелки, за исключением детей — дети ели из металлических мисок. (Почему — оставалось загадкой, возможно, из-за нехватки посуды, а может быть, как однажды заявила бабушка, чтобы они ничего не разбили, хотя ни он, ни брат никогда не были растяпами. Но семейные традиции чаще всего не имеют оснований более веских, и меня весьма забавляют этнологи, которые пытаются отыскать смысл каких-то непонятных ритуалов. Подлинная разгадка в большинстве случаев заключается в том, что

смысла не существует вовсе.) Наконец бабушка выносила окончательный вердикт: тарелка не пахнет. Собственно, к иному выводу бабушка и не могла прийти, особенно если она сама мыла накануне посуду. И тут Эрнест впадал в настоящую ярость, ибо ему к тому же не хватало слов, чтобы доказать свою правоту[75]. Разражалась гроза, и надо было дать ей отгреметь, — в итоге, он либо вовсе отказывался обедать, либо с отвращением ковырялся в тарелке, которую бабушка, однако, всегда заменяла, либо просто выскакивал из-за стола и бросался вон из дому, объявив, что идет в ресторан, где, впрочем, никогда в жизни не бывал, равно как и все остальные члены семьи, хотя бабушка, если кто-нибудь за столом выражал хоть малейшее недовольство, не упускала случая произнести сакраментальную фразу: «Иди в ресторан!» Ресторан представлялся им вследствие этого неким дьявольским заведением, окруженным обманчивым ореолом соблазна, где все кажется доступным, если в кармане есть деньги, но за первые же богопротивные наслаждения, полученные там, грешник рано или поздно жестоко расплачивается несварением желудка. Как бы то

[75] Примечания: 75

[a] микротрагедии.

ни было, бабушка никогда не спорила с Эрнестом во время таких приступов. Во-первых, она знала, что это бесполезно, во-вторых, всегда питала к младшему сыну особую слабость, которую Жак, прочитав некоторое количество книг, склонен был отнести на счет его неполноценности (хотя существует масса примеров, когда родители, вопреки распространенному предрассудку, отворачиваются от неполноценных детей), и только позднее Жак нашел более верное объяснение, перехватив однажды бабушкин взгляд, смягченный не свойственной ей нежностью: он обернулся и увидел дядю, надевавшего свой воскресный пиджак. В темном он казался еще стройнее — гладко выбритый, с тонким юным лицом, тщательно причесанный, великолепно выглядевший в свежей рубашке и галстуке, он был похож на принаряженного греческого пастуха, и Жак вдруг впервые заметил, насколько Эрнест красив. Тогда он наконец осознал, что бабушка любит своего сына физически, что она, как и все вокруг, влюблена в его фацию и силу и ее непостижимая слабость к нему, в сущности, вполне понятна — все мы подвержены ей в той или иной мере, причем отдаемся ей с наслаждением, и только она делает наш мир переносимым, ибо это есть

влечение к красоте.

Жак помнил и более серьезный случай, когда Эрнест впал в ярость и это едва не закончилось дракой с дядей Жозефеном, работавшим на железной дороге. Жозефен не ночевал у них в доме (да и где бы он там спал?). У него была комната неподалеку (куда он, впрочем, никого из них не приглашал, и Жак никогда в жизни там не был), но столовался он у бабушки, выдавая ей на это ежемесячно небольшие суммы. Жозефен не походил на брата ни в чем. Он был старше лет на десять, носил короткие усики и стрижку бобриком, был более крупным, скрытным и, главное, более расчетливым. Эрнест обвинял его в жадности. В его устах это звучало просто: «Он мзабит». Мзабитами он называл бакалейщиков, действительно прибывших из Мзаба: они годами жили впроголодь, без женщин, ютясь в комнатушках за лавкой, где стоял неистребимый запах корицы и растительного масла, и все это ради того, чтобы прокормить свои семьи в городах Мзаба, посреди пустыни, где это племя еретиков, что-то вроде исламских пуритан, жестоко преследуемых официальными религиозными властями, обосновалось несколько веков назад, избрав для жизни такое место, которое у них наверняка никто не

стал бы оспаривать, ибо там не было ничего, кроме камней, и находилось оно так же далеко от полуцивилизованного мира побережья, как какая-нибудь мертвая, покрытая кратерами планета от нашей земли; это однако не помешало им основать там пять городов вокруг скудных источников, придумав для своего мужского населения странную аскезу — заниматься торговлей на побережье: здоровые мужчины должны были добывать там средства, дабы поддерживать это порождение ума, и только ума, пока им на смену не прибудут другие, чтобы позволить им наконец вернуться в свои далекие города, обнесенные укреплениями из земли и глины, и провести остаток жизни, наслаждаясь завоеванным для веры царством. Убогую жизнь и скупость этих людей можно было понять только в связи с их высшими целями. Но рабочее население квартала, не знавшее ни ислама, ни его ересей, видело только то, что лежало на поверхности. Поэтому для Эрнеста, как и для всех прочих, сравнить брата с мзабитом означало то же самое, что сравнить его с Гарпагоном. Надо сказать, Жозефен действительно был довольно прижимист, в противоположность Эрнесту, у которого, как говорила бабушка, была «щедрая рука». (Правда, когда она сердилась на

него, то, напротив, кричала, что руки у него дырявые.) Однако помимо разницы в характерах, имелось еще то обстоятельство, что Жозефен зарабатывал чуть больше, чем Эрнест, а щедрость всегда легче дается тому, у кого ничего нет. Мало кто остается расточительным, получив для этого возможность. Такие люди — цари жизни, и перед ними следует снимать шляпу. Жозефен, конечно, в золоте не купался, но, кроме зарплаты, которую он расходовал весьма аккуратно (он пользовался так называемым методом раскладывания по конвертам, но, будучи слишком скупым, чтобы покупать настоящие конверты, делал их сам из газеты или из оберточной бумаги), у него был и дополнительный доход благодаря тщательно продуманным торговым операциям. Как железнодорожник, он имел право два раза в месяц на бесплатный проезд. Пользуясь этим, он каждые две недели по воскресеньям садился на поезд и отправлялся, как он говорил, в «глубинку», где обходил арабские фермы и покупал по дешевке яйца, кроликов или чахлых цыплят. Все это он привозил в город и продавал соседям с умеренной наценкой. Жизнь его была во всех отношениях упорядоченной. Он никогда не был замечен в связях с женщинами. Разумеется, полная рабочая

неделя и торговые вылазки по воскресеньям не оставляли ему досуга, коего требует сладострастие. Однако он всегда говорил, что женится в сорок лет на женщине с хорошим положением. До той поры он собирался снимать комнату, копить деньги и жить наполовину у матери. Как ни странно, несмотря на свою непривлекательность, он сумел осуществить это намерение и действительно женился на учительнице музыки, которая была вовсе не дурна собой и подарила ему, вместе со своей мебелью, несколько лет семейного счастья. Правда, в итоге Жозефену удалось сохранить при себе только мебель, а жену нет. Но это уже другая история, а пока, строя планы, Жозефен не учел одного: что после ссоры с Этьеном ему придется прекратить столоваться у матери и прибегнуть к разорительным услугам ресторана. Жак не помнил, из-за чего произошел скандал. Между родственниками существовали какие-то загадочные раздоры, суть которых никто толком не смог бы объяснить, тем более, что у них у всех было плохо с памятью, и они, забыв причины, механически блюли следствия, раз и навсегда принятые и не подлежащие обсуждению. Жак помнил только, что Эрнест стоял в тот день перед накрытым столом и выкрикивал какие-то руга-

тельства, сплошь непонятные, за исключением слова «мзабит», в адрес своего брата, а тот сидел и невозмутимо продолжал есть. Тогда Эрнест ударил его по лицу. Жозефен вскочил и отступил назад, чтобы на него броситься. Но бабушка уже вцепилась в Эрнеста, а мать Жака, без кровинки в лице, обхватила сзади Жозефена. «Не трогай его, не трогай его», — повторяла она, а дети смотрели на них, оцепенев и разинув рты, и слушали поток яростной брани, остававшейся без ответа, пока Жозефен не сказал наконец со злостью: «Он просто животное. Неохота связываться!» — после чего, отступая, обогнул стол, а бабушка изо всех сил держала Эрнеста, чтобы тот не кинулся вслед за братом. Даже после того, как хлопнула входная дверь, Эрнест все еще продолжал бушевать. «Пусти, пусти, — кричал он бабушке, — а то будет больно». Но она схватила его за волосы и хорошенько тряхнула: «Ты что, на мать руку поднимаешь?» Эрнест рухнул на стул и заплакал: «Нет, нет, на тебя — нет. Ты для меня все равно что Господь Бог!» Мать Жака пошла спать, так и не доев свой ужин, а назавтра у нее болела голова. Жозефен с тех пор больше не приходил, разве что изредка навестить бабушку, и то когда был уверен, что Эрнеста нет дома.

[76] Был и еще один взрыв гнева, о котором Жак не любил вспоминать, потому что в глубине души не хотел знать его причину. Какое-то время к ним в дом чуть ли не ежедневно приходил по вечерам, перед ужином, некий месье Антуан, какой-то знакомый Эрнеста, торговец рыбой с городского рынка, по происхождению мальтиец, довольно красивый, высокий и худощавый, неизменно носивший темную шляпу наподобие котелка и клетчатый шейный платок, который он повязывал под воротом рубашки. Впоследствии, размышляя об этом, Жак вспомнил кое-что, чего в свое время не замечал: мать в ту пору начала одеваться чуть более кокетливо, фартуки ее стали светлее и ярче и на щеках появилось некое подобие румян. Это было время, когда у женщин вошла в моду короткая стрижка, что прежде было не принято. Жак, надо сказать, всегда любил смотреть, как мать и бабушка священнодействуют над своими длинными волосами. Накинув на плечи полотенце, с полным ртом шпилек, они долго орудовали гребнем, потом поднимали волосы кверху, стягивали гладкие пряди к затылку, делали шиньон, пронзали его шпильками, кото-

---

[76] Примечания: 76

[a] *Пара* Эрнест — Катрин после смерти бабушки.

рые держали в плотно сжатых зубах и, вынимая из приоткрытых губ по одной, втыкали в тяжелую массу волос. Бабушке новая мода казалась нелепой и греховной, она явно недооценивала подлинную власть моды и утверждала, нисколько не заботясь о логике, что только «гулящие» женщины могут так себя уродовать. Мать хорошо это усвоила, однако год спустя, примерно тогда же, когда начались визиты Антуана, она пришла однажды домой с короткой стрижкой, помолодевшая и посвежевшая, и с нарочитой веселостью, в которой сквозила тревога, объявила, что хотела сделать им сюрприз.

Для бабушки это действительно оказалось сюрпризом: сурово глядя на дочь и созерцая непоправимое несчастье, она коротко объявила ей в присутствии Жака, что теперь она выглядит настоящей шлюхой. Потом повернулась и ушла на кухню. Улыбка исчезла с губ Катрин Кормери, и на лице ее выразились бесконечная усталость и горе. Она встретила пристальный взгляд сына, попыталась снова улыбнуться, но губы у нее задрожали, она расплакалась, побежала к себе в комнату и бросилась на кровать, которая была единственным прибежищем ее одиночества и печалей. Жак нерешительно подошел к ней. Она

зарылась лицом в подушку, открытая под короткими завитками шея и худая спина вздрагивали от рыданий. «Мама, мама, — проговорил Жак, робко тронув ее рукой. — Ты такая красивая с этой прической». Но она не расслышала и знаком попросила его уйти. Он попятился к двери и, прислонясь к косяку, тоже расплакался от бессилия и от любви[77].

Несколько дней бабушка с ней не разговаривала. Одновременно и Антуана стали принимать холоднее, чем прежде. Особенно Эрнест, который во время его визитов сидел с каменным лицом. Антуан, хотя он был достаточно самодоволен и развязен, прекрасно это почувствовал. Что же произошло потом? Жак несколько раз видел следы слез в красивых глазах матери. Эрнест почти все время молчал и был груб даже с Брийяном. Однажды летним вечером Жак обнаружил, что Эрнест стоит на балконе и как будто кого-то высматривает. «Даниель придет?» — спросил мальчик. Тот огрызнулся. И вдруг Жак заметил, что к их дому направляется Антуан, который не появлялся несколько дней. Эрнест побежал к дверям, и через минуту с лестницы послышался

---

[77] Примечания: 77

[a] слезами бессильной любви.

глухой шум. Жак бросился туда и увидел, что они молча дерутся в темноте. Эрнест, не чувствуя боли, бил и бил куда попало своими кулачищами, твердыми как железо, и мгновение спустя Антуан уже летел вниз; он поднялся с окровавленным ртом, вынул платок и вытер кровь, не сводя глаз с бесновавшегося Эрнеста. Вернувшись, Жак увидел, что мать сидит в столовой, неподвижная, с окаменевшим лицом. Он подошел и ни слова не говоря сел рядом[78]. Вернулся Эрнест, цедя проклятия и бросая яростные взгляды на сестру. Ужин прошел как обычно, если не считать того, что мать ничего не ела. «Мне не хочется», — говорила она в ответ на уговоры бабушки. Когда все поели, она ушла к себе в комнату. Ночью Жак слышал, просыпаясь, как она ворочается в постели. Назавтра она вернулась к своим черным и серым платьям, к строгой и неприметной одежде бедняков. А Жак находил ее по-прежнему красивой, даже красивее, чем раньше, — она выглядела теперь еще более отрешенной и рассеянной, навсегда замкнувшись в своей нищете, одиночестве

[78] Примечания: 78

[a] перенести ближе к началу — драку, не Люсьена.

и ожидании надвигающейся старости[79].

Жак надолго затаил обиду на дядю, хотя сам толком не знал за что. В то же время он понимал, что сердиться на него нельзя, потому что бедность, глухота, суровая нужда, в которой жила их семья, если и не оправдывают всего, то, во всяком случае, не позволяют осуждать тех, на чью долю все это выпало.

Они заставляли страдать друг друга, сами того не желая, просто потому, что каждый из них был для остальных олицетворением той жестокой и тяжкой жизни, которой они жили. При этом Жак не мог сомневаться в почти животной привязанности Эрнеста не только к бабушке, но и к сестре и ее детям. Сам он почувствовал это на себе после несчастного случая в бочарной мастерской[80]. Жак ходил туда каждый четверг. Если ему задавали на дом уроки, он быстро разделывался с ними и мчался в мастерскую с такой же радостью, с какой в другие дни бежал на улицу к друзьям.

---

[79] Примечания: 79

[a] ибо надвигалась старость — Жак в то время считал свою мать уже старой, хотя лет ей было даже меньше, чем ему теперь, но молодость — это прежде всего богатство возможностей, и он, к которому жизнь была благосклонна… (Весь этот текст зачеркнут. — *Примеч. изд.*)

[80] Примечания: 80

[b] Рассказ про мастерскую перенести вперед, чтобы он шел до приступов гнева, может быть, даже в самом начале портрета Эрнеста.

Мастерская находилась возле старого плаца. Она располагалась в большом дворе, где всюду были рассыпаны щепки, старые железные обручи, шлак и головешки. Сбоку тянулось нечто вроде навеса на каменных столбах, установленных на равном расстоянии друг от друга. Под ним работали человек пять-шесть рабочих. У каждого было свое место, то есть верстак у стены и небольшое пространство рядом, куда складывались бочки, границей же между участками соседей служило что-то вроде скамьи без спинки с довольно широкой прорезью посередине, чтобы вставлять туда днища бочек и обрабатывать их вручную с помощью некоего особого инструмента, похожего на шинковку[81] с двумя ручками. Однако на первый взгляд этот порядок был незаметен. Видимо, поначалу места были действительно разграничены четко, но постепенно скамьи оказались сдвинуты, обручи навалены между верстаков, ящики с инструментами перетаскивались с места на место, и только если долго наблюдать или часто бывать там, что в сущности одно и то же, можно было заметить, что вся деятельность каждого из рабочих сосредоточена в пределах определенной

[81] Примечания: 81

[a] проверить название инструмента.

площадки. Еще не доходя до мастерской, куда Жак носил дяде обед, он издали узнавал стук молотков по зубилам, которыми набивались обручи на собранную бочку — для этого рабочие били по одному концу зубила, а другой быстро передвигали по окружности обруча, — или угадывал по более сильному и не такому частому стуку, что кто-то из них работает с обручем на верстаке. Когда он под грохот молотков появлялся в мастерской, его встречали радостными возгласами, и стук возобновлялся. Эрнест в усыпанных опилками тапочках, заплатанных синих штанах, серой фланелевой безрукавке и линялой феске, спасавшей его красивые волосы от стружек и пыли, целовал его и тут же просил помочь. Иногда Жак держал зажатый в тисках обруч, а дядя изо всех сил стучал по нему молотком. Обруч дрожал в руках Жака и при каждом ударе врезался в ладони. А иногда он садился верхом на лавку напротив дяди и придерживал вставленное в прорезь дно бочки, пока дядя его обстругивал. Но больше всего он любил перетаскивать клепки на середину двора, где Эрнест собирал их и грубо скреплял обручем посередине. В эту бочку без дна Эрнест насыпал стружки, и Жаку надлежало их поджечь. От огня железо расширялось силь-

нее, чем дерево, и Эрнест насаживал разогретый обруч поглубже, орудуя зубилом и молотком в облаке щипавшего глаза дыма. Управившись с обручем, дядя посылал его за водой. Жак набирал ее в бадьи из колонки посреди двора, и дядя, велев всем отойти, выплескивал холодную воду на бочку, остужая обруч, который, сжимаясь, глубже входил в размягченное водой дерево, а вокруг клубился густой пар[82].

Потом все бросали работу и усаживались перекусить: перед костром из стружек и деревяшек зимой и в тени навеса — летом. Среди них был араб Абдер, чернорабочий, он носил феску, шаровары до середины икры, свисавшие сзади широкими складками, старую куртку поверх драной майки и со смешным акцентом называл Жака «коллега», потому что, помогая Эрнесту, Жак делал ту же работу, что и он. Хозяин, месье [][83] сам был старым бочаром и выполнял вместе со своими рабочими заказы для какой-то неведомой крупной фирмы. Печальный рабочий-итальянец, вечно страдавший насморком. И, главное, веселый Даниель — он всегда усаживал

---

[82] Примечания: 82

[a] закончить бочку.

[83] Примечания: 83

[1] Имя неразборчиво.

Жака рядом с собой, шутил с ним или гладил по голове. Потом Жак незаметно ускользал, бродил по двору в черном перепачканном фартуке и в старых сандалиях, полных стружек и пыли, с наслаждением вдыхал запах опилок, чуть более свежий аромат стружек, снова возвращался к огню, радуясь запаху дыма, или пробовал инструмент для обработки днищ на какой-нибудь деревяшке, вставляя ее в тиски и наслаждаясь ловкостью собственных рук, которую наперебой расхваливали рабочие. Во время одной из таких прогулок по мастерской Жак по глупости залез на скамью в мокрых сандалиях. Он поскользнулся, полетел вперед, скамья качнулась назад, и он рухнул на нее всей своей тяжестью, придавив попавшую под скамью правую руку. Он почувствовал в руке глухую боль, но тут же вскочил и засмеялся, потому что к нему со всех сторон кинулись рабочие. Но, хотя он продолжал смеяться, Эрнест подхватил его на руки и бросился с ним вон из мастерской, бормоча: «К доктору, к доктору!» Тут только он увидел, что кончик среднего пальца у него расплющен и превратился в грязное бесформенное месиво, из которого течет кровь. Ему стало дурно, и он потерял сознание. Через несколько минут они уже были у врача-

араба, жившего напротив их дома. «Пустяки, а, доктор? Пустяки?» — повторял Эрнест, бледный как полотно. «Подождите меня в другой комнате, — сказал врач. — Он будет молодцом, он же мужественный мальчик». Жаку тогда и в самом деле потребовалось мужество — до сих пор ему напоминал об этом изуродованный, вправленный кое-как средний палец. Но когда швы были наложены и перевязка закончена, врач вместе с успокаивающими каплями пожаловал ему звание храбреца. Однако Эрнест не позволил ему идти пешком и перенес через улицу на руках, а на лестнице принялся с причитаниями целовать его, прижимая к себе так крепко, что Жаку было больно.

— Мама, — сказал Жак, — стучат.

— Это Эрнест, — отозвалась мать. — Пойди открой. Я теперь запираюсь на ключ из-за бандитов.

Увидев на пороге Жака, Эрнест издал изумленное восклицание, похожее на английское «how», и, распрямившись во весь рост, бросился его целовать. Несмотря на совершенно седые волосы, лицо его оставалось поразительно молодым, по- прежнему правильным и приятным. Но кривоватые ноги искривились еще больше,

спина стала совсем круглой, и ходил он теперь растопырив руки и ноги. «Как дела?» — спросил Жак. Не слишком хорошо, у него ревматизм, боли, это плохо. А как дела у Жака? Все в порядке. Каким же Жак стал силачом, она — Эрнест указал пальцем на Катрин — очень рада, что он приехал. Со смерти бабушки и отъезда детей брат и сестра жили вдвоем и не могли обойтись друг без друга. Ему требовалась забота, и в этом смысле Катрин была ему женой — готовила еду, стирала белье, ухаживала за ним, когда он болел. А она со своей стороны нуждалась не столько в деньгах — сыновья полностью обеспечивали ее, — сколько в том, чтобы рядом был мужчина, и он опекал ее на свой лад на протяжении многих лет, когда они жили вместе — да, как муж и жена, не по плоти, но по крови — и помогали друг другу жить, ибо жизнь их была нелегка из-за физических недостатков, вели вечный немой разговор, проясняемый время от времени обрывками фраз, и при этом больше знали друг о друге и лучше ладили, чем многие нормальные пары. «Да, да, — повторял Эрнест, — она все говорит: «Жак, Жак». — «Ну вот я и здесь», — отвечал Жак. Да, вот он и здесь, с ними, и как прежде, ничего не умеет им сказать, хотя никогда не переставал их любить — хотя бы

их, и тем сильнее, что был им благодарен за это, ибо стольких людей, которые того заслуживали, он так и не сумел полюбить.

— А как Даниель?

— Хорошо, он старый, как и я. Пьеро, его брат, в тюрьме.

— За что?

— Говорит, профсоюз. Но я думаю, он — за арабов.

И вдруг забеспокоившись:

— Скажи, бандиты хорошие?

— Нет, — сказал Жак, — остальные арабы хорошие, а бандиты нет.

— Ладно, я говорил твоей матери, хозяева — просто звери. Это ужас, но бандиты еще хуже.

— Да, — сказал Жак. — Но надо как-то помочь Пьеро.

— Хорошо, я скажу Даниелю.

— А Дона? (Газовый служащий, боксер.)

— Умер. Рак. Все мы уже старые.

Да, Дона умер. И тетя Маргерит, сестра матери, тоже умерла, та, к которой бабушка таскала его по воскресеньям и где он чудовищно скучал, если только дядя Мишель, извозчик, тоже изнемогавший от скуки во время этих разговоров в темной столовой перед чашками черного ко-

фе на клеенке, не уводил его в свою конюшню, расположенную поблизости: там, в полумраке, после накаленных полуденным солнцем улиц, его встречал приятный запах конского волоса, соломы и навоза, он слышал, как цепи недоуздков скребут по деревянным яслям, лошади косились на них из-под длинных ресниц, и дядя Мишель, высокий, сухопарый, длинноусый, сам пахнущий соломой, поднимал его и сажал на какую-нибудь из лошадей, которая снова опускала морду в ясли и невозмутимо продолжала поглощать овес, а дядя приносил Жаку стручки цератонии, и тот с наслаждением их жевал, преисполненный дружеских чувств к дяде Мишелю, навсегда связанному в его памяти с лошадьми, и именно с ним они ездили в понедельник на Пасху всей семьей есть муны в лес возле Сиди-Ферруха: Мишель нанимал конку, ходившую между их кварталом и центром Алжира, — она напоминала большую клетку на колесах с деревянными сиденьями, прилаженными спинка к спинке, — цугом запрягал в нее лошадей, причем одну из передних выбирал на своей конюшне, и вот рано утром они грузили в конку огромные бельевые корзины с булочками из грубой муки под названием «муны» и легким рассыпчатым печеньем, име-

нуемым «ушками», которые все женщины этой большой семьи пекли в доме у тети Маргерит два дня подряд: на усыпанную мукой клеенку выкладывали тесто и раскатывали его скалкой до тех пор, пока оно не покрывало почти весь стол, затем самшитовым колесиком вырезали печенье, дети относили его на тарелках к плите и бросали в большие миски с кипящим маслом, а потом аккуратно укладывали в бельевые корзины, откуда поднимался восхитительный ванильный аромат, он витал вокруг них на всем пути до Сиди-Ферруха, смешиваясь с запахом моря, вдоль которого шла дорога, лошади глубоко втягивали влажный от водяной пыли воздух, а Мишель[84] пощелкивал над ними кнутом, время от времени передавая его сидевшему рядом Жаку, зачарованному зрелищем четырех огромных крупов, колыхавшихся перед ним под громкий звон бубенцов; иногда один из хвостов вдруг приподнимался, обнажая щель, которая на глазах раскрывалась, и Жак смотрел, как формируется и падает на землю аппетитный навоз, из-под копыт летели искры, лошади вскидывали головы, и бубенцы заливались на все лады. В лесу, пока

[84] Примечания: 84

[a] вернуться к Мишелю в рассказе о землетрясении в Орлеансвилле.

остальные расставляли под деревьями корзины и расстилали полотенца, Жак помогал Мишелю обтирать соломой лошадей и привязывать им на шею кормушки из серой мешковины, куда они, жуя, погружали морды, открывая и закрывая большие добрые глаза или нетерпеливо отгоняя ногой мух. В лесу было полно народу, люди сидели и ели на каждом шагу, где-то танцевали под аккордеон или под гитару, поблизости шумело море, было еще не так жарко, чтобы купаться, но достаточно тепло, чтобы, пока остальные дремлют, пошлепать босиком по воде, а свет, неуловимо смягчаясь, делал пространство неба еще более огромным, таким огромным, что у мальчика слезы выступали на глазах и из горла рвался крик восторга и благодарности за то, что жизнь так прекрасна. Но тетя Маргерит умерла, тетя Маргерит, такая красивая, всегда нарядная, — кокетка, как про нее говорили, — она умерла, и это было к лучшему, потому что диабет пригвоздил ее к креслу, она стремительно начала толстеть и так раздалась, что ей уже было трудно дышать. Заплывшая, одутловатая, пугающе уродливая, она сидела в своей запущенной квартире в окружении дочерей и хромого сына-сапожника, которые со страхом следили, не начинается ли

у нее приступ удушья[85][86]. Накачанная инсулином, она все пухла и пухла, и в конце концов у нее действительно случился приступ удушья, оказавшийся последним[87].

Умерла и тетя Жанна, сестра бабушки, та, что присутствовала на воскресных концертах: она держалась долго, продолжая жить на своей беленькой ферме в окружении дочерей, солдатских вдов, и до самой смерти не переставала говорить о своем муже, дяде Жозефе, умершем давным-давно[88]: он объяснялся только на маонском диалекте, и Жак всегда восхищался его седой шевелюрой, обрамлявшей красивое румяное лицо, и черным сомбреро, которое тот не снимал даже во время еды, восседая за столом с неподражаемым величием крестьянского патриарха; при этом он мог, слегка приподнявшись, громко испустить газы, за что потом учтиво извинялся в

---

[85] Примечания: 85

[a] Книга шестая, 2-я часть.

[86] Примечания: 86

[b] И Франсис тоже умер (см. последние заметки).

[87] Примечания: 87

[c] Дениза уехала от них в восемнадцать лет и пустилась во все тяжкие. — В двадцать один год, разбогатев, возвращается и, продав свои драгоценности, покупает отцу лошадей — взамен тех, что пали во время эпидемии.

[88] Примечания: 88

[d] дочери?

ответ на робкие укоры жены. И бабушкины соседи, Массоны, тоже все умерли, сначала старуха, потом старшая сестра, длинная Александра, и [][89], ее брат с оттопыренными ушами, который был пластическим акробатом и пел на утренних концертах в кинотеатре «Алькасар». Да, все, и самая младшая, Марта, с которой флиртовал — и даже не просто флиртовал — брат Жака Анри.

Никто больше не говорил о них. Ни мать, ни дядя не говорили о покойных родственниках. Не вспоминали ни его отца, чьи следы он пытался отыскать, ни остальных. Они продолжали жить насущными заботами, хотя давно перестали бедствовать, но привычка уже въелась в них, как и смиренный страх перед жизнью, они любили ее животной любовью, но знали по опыту, что время от времени она неизбежно порождает беду, вынашивая ее тайно и незаметно[90]. К тому же оба они, замкнутые, молчаливые, лишенные воспоминаний и хранившие в памяти лишь несколько расплывчатых картин, жили теперь в непосредственной близости смерти, иначе говоря, опять-таки в дне сегодняшнем. Ему никогда

[89] Примечания: 89

[1] Имя неразборчиво.

[90] Примечания: 90

[a] выходит, они чудовища (нет, это он ч.).

не узнать от них, что за человек был его отец, и хотя они одним своим присутствием высвобождали в нем свежие родники, пробивавшиеся из нищего и счастливого детства, он не был уверен, что эти воспоминания, такие богатые, такие яркие, действительно достоверно рисуют ему того мальчика, каким он когда-то был. Скорее, он был убежден в обратном, в том, что ему надлежало сберечь всего два-три особенно важных образа, которые накрепко связывали, объединяли его с ними и, перечеркивая все, чем он пытался быть в течение многих лет, вновь превращали его в существо безымянное и слепое, которое так упрямо жило в поколениях его семьи, придавая ей подлинное благородство.

Таково, например, воспоминание о жарких вечерах, когда после ужина они выносили стулья и усаживались на тротуаре перед домом: сквозь пыльные фикусы на них опускался сухой горячий воздух, соседи ходили мимо взад и вперед, а Жак[91] сидел, прижавшись к худому плечу матери, слегка запрокинув стул назад, и смотрел сквозь ветви на звезды летнего неба; или воспоминание о рождественской ночи, когда,

---

[91] Примечания: 91

[a] Смиренный и гордый властелин ночной красоты.

возвращаясь после полуночи от тети Маргерит — Эрнеста с ними не было, — они увидели у ресторана, совсем рядом с их домом, распростертого на земле человека, а вокруг него плясал другой. Эти двое напились и хотели выпить еще. Владелец ресторана, светловолосый и хрупкий молодой человек, им отказал. Тогда они стали бить ногами в живот хозяйку, которая была беременна. И тут хозяин выстрелил. Пуля попала одному из них в висок. Теперь он лежал на тротуаре раной вниз. Его приятель, одурев от виски и ужаса, пустился вокруг него в пляс, ресторан спешно закрылся, все торопились исчезнуть до прихода полиции. Они стояли на глухой улице, прильнув друг к другу — двое детей и две женщины, крепко прижавшие их к себе, — и в эти минуты слабые отблески света на мостовой, грязной от недавних дождей, длинные скользкие тени мокрых автомобилей, трамваи, освещенные и грохочущие, полные веселых людей, равнодушных к этой потусторонней сцене, запечатлели в потрясенной душе Жака картину, которая и теперь затмевала все остальные: это был сладкий и вкрадчивый образ квартала, где он целый день царил в невинности и упоении, но который с наступлением сумерек становился таинственным и тревожным, на

улицах начинали мелькать какие-то тени, или, точнее, одна безымянная тень — ее появление возвещал глухой топот, неясный гул голосов, и она возникала вдруг в кровавом свете аптечного фонаря, и мальчик, внезапно охваченный страхом, бросался бежать к старому невзрачному дому, чтобы быть поближе к своим.

6-бис. Школа[92]

[93] Этот человек не знал его отца, хотя часто говорил о нем с Жаком в несколько отвлеченной, полумифологической форме, но, главное, он однажды сумел ему отца заменить. Поэтому Жак никогда не забывал его и, даже не ощущая по-настоящему отсутствие незнакомого ему отца, инстинктивно распознал, еще будучи ребенком, а потом помнил на протяжении всей жизни тот единственный отцовский поступок, продуманный и решительный, который перевернул его детскую судьбу. Ибо месье Бернар, его учитель в последнем классе начальной школы, употребил все свое мужское влияние, чтобы изменить участь ребенка, за которого был в ответе, и действительно изменил ее.

Сейчас месье Бернар снова сидел перед Жаком в своей маленькой квартирке на одном из поворотов Ровиго, почти под самой Касбой, воз-

---

[92] Примечания: 92

[1] См. в приложениях листок II, который автор заложил между страницами 68 и 69 рукописи.

[93] Примечания: 93

[a] Переход от 6?

вышавшейся над городом и морем, где жили мелкие торговцы всех рас и вероисповеданий, а в домах пахло пряностями и нищетой. Он заметно постарел, у него поредели волосы, появились старческие пятна на почти прозрачной коже лица и рук, двигался он теперь медленнее, чем прежде, и испытывал заметное облегчение, когда опускался наконец в плетеное кресло у выходившего на торговую улицу окна, на котором щебетала канарейка; от возраста он стал сентиментален и расчувствовался, чего никогда не бывало раньше, но держался по-прежнему прямо, и голос у него был решительный и твердый, как в те времена, когда он, стоя перед толпой учеников, говорил: «Построиться в две шеренги! В две! Я сказал в две, а не в пять!» Толкотня мгновенно прекращалась, ученики, которые одновременно боялись и боготворили месье Бернара, выстраивались перед классом в коридоре второго этажа, и, когда ряды наконец выравнивались и воцарялась тишина, он освобождал их от неподвижности: «А теперь входите, пострелята!» Это было сигналом к новому оживлению, уже более цивилизованному, за которым месье Бернар, крепкий, элегантный, благоухающий одеколоном, с правильными чертами лица и чуть редковатыми, но аккуратно

причесанными волосами, наблюдал строго и дружелюбно.

Школа находилась в относительно новой части их старого района, среди невысоких домов, выстроенных вскоре после войны семидесятого года, и пакгаузов, возникших позднее и постепенно соединивших главную улицу их квартала с внутренней гаванью, где располагались угольные пристани. Все детство Жак дважды в день ходил туда пешком: в четыре года его отдали в детский сад при этой школе, но о том времени у него не осталось никаких воспоминаний, запомнился только серый каменный умывальник, целиком занимавший одну из стен крытого внутреннего двора. Однажды он налетел на этот умывальник головой и поднялся весь в крови, с рассеченной бровью, среди обезумевших от ужаса воспитательниц — он впервые узнал тогда, что такое швы, но потом, не успели ему их снять, как пришлось снова накладывать на другую бровь: старшему брату вздумалось нарядить его дома в старый котелок, съезжавший ему на глаза, и в чье-то старое пальто, в котором он путался, в результате он упал и стукнулся головой об угол одной из неровно лежавших плит пола. В то время он уже ходил в детский сад вместе с

Пьером, который был почти на год старше его и жил на соседней улице с матерью, тоже солдатской вдовой, работавшей на почте, и двумя дядьями-железнодорожниками. Их семьи были, в общем-то, в дружеских отношениях, как их понимают в таких кварталах, то есть уважали друг друга, практически не общаясь, и были всегда готовы друг другу помочь, никогда не имея случая это сделать. Только дети подружились по-настоящему — с самого первого дня, когда Жак, еще носивший платьице, был отдан на попечение Пьеру, который сознавал все значение своих брюк и ответственность старшего и повел его за руку в детский сад. Они не разлучались ни в саду, ни в первых классах, а потом вместе перешли в последний, когда Жаку исполнилось девять. В течение пяти лет они по два раза в день ходили вместе туда и обратно — один блондин, другой брюнет, один уравновешенный, другой горячий, но при этом братья по происхождению и судьбе, оба хорошие ученики и неутомимые игроки. Жак лучше учился по некоторым предметам, но его озорство, легкомыслие и вечное желание пустить пыль в глаза, толкавшее его на массу дурацких выходок, давали преимущество Пьеру, более рассудительному и сдержанному. Так что они по

очереди занимали первое и второе место в классе, не испытывая при этом ни малейшего тщеславного удовольствия, в отличие от их семей. Их радости были иными. По утрам Жак ждал Пьера у дверей его дома. Они выходили раньше, чем появлялся мусорщик, точнее, специальная повозка, запряженная клячей с разбитыми ногами, которой правил старик араб. Тротуар был еще сырой после ночи, с моря дул соленый ветер. Пьер жил на улице, ведущей к рынку, и на каждом углу там стояли мусорные ящики, где успевали порыться на рассвете голодные арабы, мавританцы или какие-нибудь бродяги-испанцы, ухитрявшиеся еще чем-то поживиться среди отбросов, которые даже бедные и бережливые жители квартала сочли ни на что не годными и решились вынести на помойку. Крышки мусорных ящиков обычно оставались открытыми, и в этот час тощие и отчаянные местные кошки сменяли оборванцев. Задачей мальчишек было тихонько подкрасться к ящику, где рылась кошка, и захлопнуть крышку. Этот подвиг совершить было непросто, ибо кошки, рожденные в бедных кварталах, обладают бдительностью и проворством диких животных, привыкших постоянно бороться за право на жизнь. Но иногда, увлеченная аппетитной наход-

кой, которую трудно было извлечь из-под груды мусора, кошка все-таки попадалась. Крышка со стуком захлопывалась, кошка испускала вопль ужаса, начинала биться, работая спиной и когтями, и в конце концов ухитрялась приподнять крышку своей цинковой тюрьмы; она вылезала вся взъерошенная от страха и бросалась наутек, как будто за ней гналась свора собак, под хохот маленьких палачей, совершенно не сознававших жестокости своей забавы[94].

Впрочем, эти палачи не всегда были жестоки, например, они яростно преследовали живодера-собачника, которого местные дети прозвали Галуфа[95] (что по-испански...). Этот представитель муниципальной санитарной службы выезжал на работу примерно в тот же час, но при необходимости мог повторить свой рейд и после обеда. Это был араб, одетый по-европейски, обычно он стоял на запятках странной повозки, запряженной парой лошадей, которыми правил невозмутимый старик, тоже араб. Повозка пред-

[94] Примечания: 94

[a] Экзотика — гороховый суп.

[95] Примечания: 95

[1] Это прозвище происходит от имени человека, который первым согласился исполнять подобную работу и которого действительно звали Галуфа.

ставляла собой нечто вроде деревянного куба, где с обеих сторон тянулись ряды клеток с крепкими прутьями. Всего клеток было шестнадцать, и в каждой могла поместиться собака. Забравшись на заднюю подножку, живодер озирал поверх клеток свои охотничьи угодья. Повозка медленно ехала по мокрым улицам, где уже начинали появляться школьники, хозяйки в цветастых бумазейных халатах, идущие за хлебом или за молоком, или торговцы-арабы, спешащие на рынок со складными лотками за спиной и огромными соломенными корзинами с товаром в руках. Неожиданно по знаку Галуфы кучер натягивал поводья, и повозка останавливалась. Это означало, что Галуфа заметил одну из своих убогих жертв, которая, панически озираясь по сторонам, лихорадочно рылась в мусорном ящике или бежала вдоль домов с беспокойным и озабоченным видом, какой бывает обычно у голодных собак. Галуфа хватал с крыши повозки аркан с железной цепью, конец которой, образуя петлю, свободно скользил с помощью кольца вдоль рукояти. Он тихо и быстро, по-охотничьи, крался к собаке, настигал ее и, если на ней не было ошейника, означавшего, что она из хорошей семьи, бежал к

нему[96] с поразительной скоростью и накидывал на шею свою удавку, действовавшую как лассо. Полузадушенная собака бешено сопротивлялась и скулила. Но Галуфа быстро волок ее к повозке, открывал одну из зарешеченных дверок, вздергивал собаку вверх, придушивая ее еще сильнее, и швырял в клетку, не забыв вытянуть сквозь прутья рукоять своего лассо. Заперев дверцу, он ослаблял цепь и освобождал шею собаки. Во всяком случае, так все происходило, когда собаку не защищали дети. Ибо против Галуфы объединялись все. Все знали, что пойманных собак отвозили в собачий приемник, держали там три дня и, если никто за ними не приходил, убивали. Но даже если бы дети этого не знали, их все равно возмутил бы душераздирающий вид собачьей повозки, когда после удачной охоты в клетках метались насмерть перепуганные псы всех мастей и размеров, оглашая улицу жалобными завываниями. Поэтому, когда собачий фургон появлялся на улице, дети подавали друг другу сигнал тревоги. Они мгновенно рассыпались по всему кварталу и сами преследовали собак, прогоняя их на другие улицы, подальше от ужасной

[96] Примечания: 96

[1] Sic.

удавки. Если Галуфа все же обнаруживал бродячую собаку в присутствии Пьера и Жака, что бывало не раз, тактика оставалась прежней. Прежде чем живодер успевал приблизиться к добыче, они начинали орать: «Галуфа! Галуфа!» — так пронзительно и страшно, что собака бросалась бежать со всех ног и через секунду исчезала из виду. Тут уж и детям приходилось последовать ее примеру, потому что раздосадованный Галуфа, который получал дополнительную плату за каждую пойманную собаку, вне себя от ярости бросался за ними в погоню, потрясая своим арканом. Взрослые обычно помогали им убежать — они либо хитростью задерживали Галуфу, либо просто останавливали его и требовали обратить свой пыл на собак. Обитатели рабочей окраины — все, как правило, охотники — собак любили и не питали ни малейшего уважения к этому странному ремеслу. «Дармоед», — говорил про Галуфу дядя Эрнест. Над всей этой суматохой царственно восседал на высоких козлах старик араб, безмолвный, невозмутимый, принимаясь спокойно сворачивать самокрутку, если дело затягивалось. Поймав кошку или освободив собаку, Жак и Пьер продолжали свой путь: зимой — в развевающихся пелеринках, летом — стуча

сандалиями (под названием мевы). Сначала рынок, несколько быстрых взглядов на фруктовые прилавки, где, чередуясь в зависимости от времени года, высились на их пути горы мушмулы, апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков, мандаринов[97], дынь, арбузов, доставшихся им не часто и понемногу, потом прямо на ходу, с ранцами за спиной, два-три гимнастических трюка на гладком бортике фонтана, — и вперед, по бульвару Тьера, вдоль пакгаузов, сквозь облако апельсинового запаха с фабрики, где из цедры делали ликеры, затем по маленькой улочке из вилл и садов, и наконец оказывались на улице Омера, где бурлила толпа детей, ждавших, когда откроются двери школы.

Потом начинались уроки. С месье Бернаром заниматься всегда было интересно, по той простой причине, что он страстно любил свое дело. За окном могло полыхать солнце на порыжелых стенах, так что воздух потрескивал от жары даже в классе, затененном шторами в широкую желто-белую полоску. Мог лить дождь, как он льет в Алжире, нескончаемым водопадом, превращая улицу в темный сырой колодец, — класс

---

[97] Примечания: 97

[1] Sic.

почти не замечал этого. Только иногда, в грозу, детей отвлекали мухи. Их брали в плен и топили в чернилах, где они медленно умирали отвратительной смертью, барахтаясь в фиолетовой грязи маленьких, сужавшихся книзу фарфоровых чернильниц, которые вставлялись в отверстия парт. Но даже мухи были бессильны перед системой месье Бернара, заключавшейся в том, чтобы сделать урок живым и интересным, не поступаясь, однако, дисциплиной в классе. Он умел в нужный момент вытащить из своей сокровищницы коллекцию минералов, гербарий, заспиртованных бабочек и жуков, географические карты или… что мгновенно пробуждало угасающий интерес детей. Он единственный во всей школе был обладателем волшебного фонаря и два раза в месяц показывал фильмы по естественной истории или по географии. На уроках арифметики он устраивал состязания по устному счету, развивавшие у детей быстроту мышления. Все должны были сидеть сложив руки на парте, а он сыпал примерами на деление, умножение, иногда — на сложение, но с большими числами. Сколько будет 1267 + 691? Первый, кто ответит правильно, получал плюс, который учитывался при подведении месячных итогов. В остальном он

искусно и со знанием дела использовал учебники… Учебники были те же, что и в метрополии. И сорванцы, которые знали только сирокко, пыль, короткие сокрушительные ливни, прибрежный песок и море, объятое огнем солнца, прилежно читали, выделяя паузами точки и запятые, загадочные истории, где дети в шапках и шерстяных шарфах, дрожа от холода, брели домой по заметенной снегом дороге с вязанкой хвороста и наконец замечали заснеженную крышу дома и дымок над трубой, означавший, что в очаге варится гороховый суп. Для Жака эти рассказы были воплощением экзотики. Он грезил над ними, заполняя страницы сочинений описаниями таинственного мира, которого никогда не видел, и без конца приставал к бабушке с расспросами о снегопаде, случившемся в Алжире двадцать лет назад и продолжавшемся целый час. Эти рассказы были для него частью манящей поэзии школы — ее таили и аромат лака на линейках и пеналах, и чудесный вкус кожаной лямки от ранца — Жак подолгу жевал ее, корпя над уроками, и горьковатый терпкий запах чернил, особенно когда приходила его очередь наполнять чернильницы из огромной темной бутылки, куда вставлялась через пробку изогнутая стеклянная трубочка, и

Жак, наслаждаясь, чуть не утыкался носом в ее отверстие, и приятное чувство от прикосновения к глянцевым страницам книг с не менее восхитительным ароматом типографской краски и клея, и наконец, в дождливые дни — запах мокрой шерсти от шерстяных пальто с капюшонами, висевших в глубине класса, который на время становился как бы прообразом того блаженного края, где дети в сабо и вязаных шапочках бежали по снегу к натопленному дому.

Только школа дарила Жаку и Пьеру эти радости. Наверно, их привлекало в ней то, чего им не хватало дома, где бедность и невежество делали жизнь тягостной и однообразной, как бы наглухо закрытой со всех сторон. Нищета — это крепость без подъемного моста.

И все-таки дело обстояло не так просто, ибо Жак чувствовал себя несчастнейшим из людей, когда на каникулах, чтобы избавиться от непоседливого ребенка, бабушка отправляла его в летний лагерь в горы Заккар, в Милиану, где полсотни ребят и несколько воспитателей жили в школе, оснащенной дортуарами: они ели там досыта и спали в удобных, чистых постелях, играли или гуляли целыми днями под присмотром добрых медсестер, и несмотря на все это, когда насту-

пал вечер и тьма стремительно ползла вверх по склонам, а в казарме неподалеку, среди безмолвия маленького городка, затерянного в горах за несколько десятков километров от по-настоящему людных мест, рожок начинал играть грустную мелодию вечерней зори, мальчик чувствовал, как его охватывает беспредельное отчаяние и из груди рвется беззвучный крик от тоски по бедному дому его детства[98].

Нет, школа была для них не просто бегством от домашней жизни. Уроки месье Бернара утоляли в них жажду, свойственную ребенку в большей степени, чем взрослому, — жажду открытий. В младших классах их, конечно, тоже учили многому, но примерно тем же способом, каким откармливают гусей. Им предлагали уже готовый корм и требовали его проглотить. Попав к месье Жермену[99], они впервые почувствовали, что существуют самостоятельно и им оказывают высочайшее уважение: считают их достойными познавать мир. Больше того, учитель не ограничивался одним лишь обучением, за которое ему платили жалованье, он запросто допускал их в

[98] Примечания: 98

[a] Развить и закончить гимном светской школе.

[99] Примечания: 99

[1] Автор называет здесь учителя его настоящим именем.

свою частную жизнь, проживал ее вместе с ними, рассказывал о своем детстве и о детстве знакомых ему людей, делился своими мнениями, при этом не посвящая их полностью в свой образ мыслей, потому что был, к примеру, антиклерикалом, как и многие его коллеги, но никогда не говорил в классе ни слова против религии или других вещей, которые могли быть предметом выбора или убеждений, зато с удвоенной силой осуждал то, что было однозначно для всех: воровство, доносительство, непорядочность.

Но, главное, он рассказывал им о войне, еще совсем недавней, на которой он воевал четыре года, о страданиях солдат, об их мужестве, об их терпении и о том, каким счастьем было для всех перемирие. В конце каждой четверти, перед каникулами или когда оставалось время от урока, он читал им большие отрывки из «Деревянных крестов»[100] Доржелеса. Это тоже открывало Жаку ворота экзотического мира, но совсем другого, где бродят горе и страх, хотя он и не сопоставлял это — разве что чисто теоретически — с участью своего погибшего отца. Он просто самозабвенно слушал то, что учитель самозабвенно читал:

---

[100] Примечания: 100

[a] посмотреть книгу.

здесь тоже говорилось о снеге и о милой его сердцу зиме, но еще и о необыкновенных людях, одетых в тяжелую, негнущуюся от грязи одежду, говоривших странным языком и живших в ямах под сплошным пологом летящих снарядов, ракет и пуль. Каждый раз они с Пьером все нетерпеливее ждали продолжения. Разговоры об этой войне не прекращались (и Жак молча, затаив дыхание, слушал Даниеля, когда тот рассказывал о битве на Марне, где он побывал и не мог понять по сей день, как остался цел: их, зуавов, послали тогда в атаку, они рассыпались цепью и пошли, потом начали спускаться в большой овраг, впереди никого не было, они всё шли, и тут — пулеметы, а они на середине склона, солдаты вдруг стали падать друг на друга, дно оврага заполнилось кровью и кто-то кричал «мама», это был ужас), те, кто вернулся, не могли ее забыть, и тень ее витала над всем, что решалось тогда вокруг, над всеми надеждами и картинами прекрасного будущего, более удивительного, чем волшебные сказки, которые читали детям в других классах, но которые им теперь показались бы скучными, если бы месье Бернар вдруг вздумал поменять книгу. Но он продолжал читать то, что начал, смешные эпизоды чередовались со страшными

сценами, и постепенно африканские дети сроднились с… N и NN, как бы вошедшими незаметно в их круг, и говорили о них между собой как о старых знакомых, находящихся где-то рядом и настолько живых, что Жак, например, ни на секунду не допускал мысли, что они могут погибнуть, хотя дело происходит на войне. И вот в последний день учебного года, когда, дойдя до конца книги,[101] месье Бернар глуховатым голосом прочел им сцену гибели Д. и молча закрыл книгу, ощутив себя на мгновение наедине со своими переживаниями и памятью, а потом поднял глаза и взглянул на потрясенных, безмолвных учеников, он увидел, что Жак смотрит на него с первой парты широко открытыми глазами, лицо его в слезах, а плечи сотрясают неудержимые рыдания, которым, казалось, не будет конца. «Ну-ну, малыш! Ну-ну», — пробормотал месье Бернар едва слышно и, отвернувшись, встал, чтобы убрать книгу в шкаф.

«Погоди, малыш», — сказал месье Бернар. Он с трудом поднялся, просунул палец сквозь прутья клетки, где заливалась канарейка: «Ах, Казимир, мы проголодались, просим у папочки

---

[101] Примечания: 101

* романа.

кушать», — и [двинулся] к маленькому школьному письменному столу, стоявшему в глубине комнаты, возле камина. Он порылся в ящике, задвинул его, открыл другой, что-то оттуда достал. «Вот, — сказал он, — это тебе». Жак взял книгу в коричневой оберточной бумаге, на которой не было названия. Еще не раскрыв ее, он уже знал, что это «Деревянные кресты» — тот самый экземпляр, который месье Бернар читал в классе. «Нет-нет, — сказал он, — это...» Он хотел сказать: это слишком драгоценный подарок. Он не находил слов. Месье Бернар покачал головой. «Ты плакал в последний день, помнишь? С тех пор эта книга твоя». И отвернулся, скрывая покрасневшие вдруг глаза. Он опять направился к письменному столу, потом, пряча руки за спиной, вернулся к Жаку и, помахав у него перед носом короткой и крепкой красной линейкой[102], сказал, смеясь: «Помнишь леденец на палочке?» — «А, месье Бернар, — воскликнул Жак, — вы ее сохранили? Кстати, теперь это запрещено». — «Подумаешь, это и тогда было запрещено. Но, как ты помнишь, я не раз пускал ее в ход!» Да, не помнить Жак не мог, ибо месье Бернар всегда был

---

[102] Примечания: 102

[a] Наказания.

сторонником телесных наказаний. Обычное наказание состояло в получении минусов, которые учитель, подводя итоги в конце месяца, вычитал из числа заработанных учеником плюсов, и это понижало его место в списке успеваемости. Если же проступок был серьезным, месье Бернар и не думал, как его коллеги, отправлять провинившегося к директору. Он действовал сам, следуя незыблемому ритуалу. «Мой бедный Робер, — говорил он весело, не раздражаясь, — придется тебе отведать леденца». Класс сидел молча (разве что кое-кто посмеивался исподтишка, ибо таков закон человеческой натуры, что наказание одного доставляет удовольствие другим[103]. Ученик вставал, бледный, как мел, он обычно старался не терять самообладания (некоторые выходили из-за парты, заранее глотая слезы, и плелись к учительскому столу, где уже стоял перед доской месье Бернар). Согласно ритуалу, Робер или Жозеф должен был сам — и в этом был некоторый элемент садизма — взять со стола «леденец» и вручить его верховному жрецу.

«Леденцом» называлась толстая короткая деревянная линейка красного цвета, вся в зазубринах

---

[103] Примечания: 103

[b] или одни наслаждаются наказанием других.

и чернильных пятнах, которую месье Бернар некогда конфисковал у какого-то давно забытого ученика; провинившийся вручал ее месье Бернару, тот брал ее, как правило, с насмешливым видом и широко расставлял ноги. Мальчик должен был наклониться, и учитель крепко зажимал его голову между колен. По подставленному таким образом заду месье Бернар отвешивал в соответствии со степенью вины определенное количество крепких ударов линейкой, поровну распределяя их между двумя половинками. Реакция на наказание была разной. Одни начинали охать, еще не получив ни одного удара, и невозмутимый учитель говорил в таких случаях, что они торопятся, другие наивно пытались прикрыть попку руками, но месье Бернар небрежно сбрасывал руки линейкой. Третьи под обжигающими ударами дико брыкались. Были и такие, которые, как Жак, молча терпели побои и только вздрагивали, а потом возвращались на свое место, изо всех сил сдерживая слезы. В целом, однако, наказание принималось без обиды, прежде всего потому, что почти всех их били дома и они воспринимали порку как естественный способ воспитания; во-вторых, справедливость учителя не подвергалась сомнению, было зара-

нее известно, какие именно прегрешения, всегда одни и те же, влекут за собой искупительную процедуру, и всякий, кто выходил за пределы действий, каравшихся минусом, прекрасно знал, чем рискует; в-третьих, наказание применялось как к последним ученикам, так и к первым, с отеческой беспристрастностью. Жаку, которого месье Бернар явно очень любил, доставалось точно так же, как и остальным, он даже ухитрился получить свою порцию буквально назавтра после того дня, когда месье Бернар публично оказал ему предпочтение перед другими. Жак отвечал тогда у доски, месье Бернар за хороший ответ потрепал его по щеке, и тут из класса раздался чей-то шепот: «Любимчик!» Тогда месье Бернар обнял Жака за плечи и серьезно сказал: «Да, Кормери у меня на особом положении, как и все те, у кого отцы погибли на фронте. Я тоже был на этой войне и остался жив. Поэтому я стараюсь хотя бы там, где могу, заменить моих погибших товарищей. А теперь, если кто-то хочет сказать, что у меня есть «любимчики», пусть скажет громко!» Эта торжественная речь была встречена полным молчанием. Выходя из класса, Жак спросил, кто назвал его «любимчиком». Проглотить такое оскорбление как ни в чем не бывало значило

опозорить себя. «Я», — ответил Мюноз, высокий белобрысый мальчишка, довольно бесцветный и рыхлый, который редко себя проявлял, но не упускал случая продемонстрировать Жаку свою неприязнь. «Что ж, — сказал Жак, — тогда мать твоя — шлюха[104]». Это было ритуальное проклятие, которое немедленно влекло за собой драку: оскорбление матери или покойных родственников с незапамятных времен считалось на берегах Средиземного моря самым страшным. Мюноз, однако, мялся. Но ритуал есть ритуал, и за него ответили другие: «На зеленое поле!» Зеленым полем назывался пустырь неподалеку от школы, покрытый струпьями чахлой травы, где валялись ржавые обручи, консервные банки и гнилые бочки. Там происходили «сшибки». Попросту говоря, это были дуэли, где шпагу заменяли кулаки, но сама процедура мало чем отличалась, во всяком случае, по духу. Суть ее состояла в том, чтобы смыть обиду, которая затрагивала честь одного из противников — были оскорблены его родители или предки, унижена нация или раса, на него донесли или самого обвинили в доносительстве, обокрали или на-

[104] Примечания: 104

[a] покойники твои — ублюдки.

звали вором, или нашлись какие-то иные, не столь очевидные поводы, из тех, что возникают в мальчишеской среде чуть ли не каждый день. Если кто-то из них считал (а главное, если за него считали другие и он это сознавал), что ему нанесено оскорбление настолько серьезное, что необходимо получить удовлетворение, звучала сакраментальная фраза: «В четыре на зеленом поле». Как только эти слова были сказаны, страсти утихали и пересуды прекращались. Противники расходились в разные стороны, каждый со своей свитой. Дальше уроки шли своим чередом, а новость передавалась с парты на парту вместе с именами участников турнира: одноклассники украдкой поглядывали на них, а те, разумеется, изображали решительность и невозмутимость, как и подобает настоящим мужчинам. При этом в душе у них могло твориться все, что угодно. Даже самые отчаянные храбрецы не могли сосредоточиться и нервничали в ожидании минуты, когда придется столкнуться с грубой силой. Однако невозможно было дать вражескому лагерю повод для зубоскальства и обидных заявлений, будто дуэлянт сдрейфил.

Исполнив долг чести и бросив вызов Мюнозу, Жак тем не менее дрейфил довольно сильно,

как это бывало всякий раз, когда ему предстояло встретиться лицом к лицу с жестокостью или проявить ее самому. Но все уже было решено, и у него даже мысли не возникало о том, чтобы пойти на попятный. Таков был закон, и он знал, что эта легкая тошнота, подступавшая к горлу, пройдет, как только он начнет драться и им овладеет злость, которая тактически оказывала ему плохую услугу, хотя в то же время была полезна для… и принесла ему[105].

Поединок с Мюнозом состоялся по заведенному ритуалу. Первыми на поле пришли дуэлянты в сопровождении своих болельщиков, которые превратились теперь в секундантов и несли портфели бойцов, вслед за ними собрались зрители и плотным кольцом обступили противников, те сняли пелерины и куртки и отдали секундантам. На этот раз горячий нрав выручил Жака, он атаковал первым и, хотя натиск его был не слишком уверенным, заставил соперника отступить; Мюноз неуклюже отбивался и растерянно пятился, но все же сумел больно ударить Жака по щеке, что привело его в ярость, которую к тому же подогревали крики, смех и ободряющие возгласы

[105] Примечания: 105

[1] Конец отрывка в рукописи.

зрителей. Он бросился на Мюноза, стал неистово молотить его кулаками, поверг в замешательство и, изловчившись, изо всей силы нанес ему удар в правый глаз, так что бедняга зашатался и с самым жалким видом плюхнулся задом на землю, плача одним глазом, в то время как другой глаз уже начал заплывать синевой. Фонарь под глазом, королевский удар, о котором можно было только мечтать, ибо он зримо и надолго закреплял триумф победителя, вызвал у присутствующих восторженные дикарские вопли. Мюноз не сразу смог встать, и лучший друг Пьер решительно объявил Жака победителем. Он надел на него куртку, закутал в пелерину и увел в сопровождении толпы восторженных почитателей, в то время как Мюноз, с трудом поднявшись и все еще продолжая плакать, одевался в узком кругу своих приунывших сторонников. Жак, ошеломленный молниеносной победой, на которую не вполне рассчитывал, едва слышал сыпавшиеся на него поздравления и уже приукрашенные рассказы о недавней битве. Ему хотелось радоваться, и в глубине души он действительно испытывал тщеславное торжество, но, когда, покидая поле, он оглянулся и посмотрел на Мюноза, сердце у него сжалось при виде опухшего лица, разбитого его

рукой. Так он впервые узнал, что война — это зло, ибо победа рождает не менее горькое чувство, чем поражение.

Вскоре его философский багаж пополнился еще одной истиной: ему незамедлительно продемонстрировали, что от славы до позора один шаг. На следующий день товарищи восхищенно хлопали его по плечу, и он счел, что ему подобает фанфаронить и всячески показывать свою удаль. В начале урока, когда Мюноз не отозвался на перекличке, ребята прокомментировали его отсутствие ироническими ухмылками и подмигиванием победителю, а Жак в ответ, не удержавшись, прищурил один глаз, надул щеку и, не замечая, что месье Бернар на него смотрит, принялся кривляться, изображая подбитый глаз соперника. Однако гримаса мгновенно исчезла с его лица, когда во внезапно затихшем классе раздался голос учителя. «Бедный мой любимчик, — сказал этот насмешник, — ты имеешь право на леденец наравне со всеми, и ты его заслужил». Пришлось победителю встать, пойти за орудием пытки, вступить в облако парфюмерного аромата, окружавшего месье Бернара, и принять позорную позу.

История с дракой не закончилась, однако, этим

уроком практической философии. Мюноз и на другой день не пришел в школу, и Жак, несмотря на свой хвастливый вид, почувствовал смутное беспокойство, а на третий день к ним зашел ученик из старшего класса и сказал месье Бернару, что ученика Кормери вызывает директор. К директору вызывали только в чрезвычайных случаях, и учитель, приподняв густые брови, сказал только: «Иди скорее, малыш. Надеюсь, ты не натворил глупостей». Жак на ватных ногах поплелся за старшеклассником по длинной галерее над цементным двором, засаженным с обеих сторон авраамовыми деревьями, чья скудная тень не спасала летом от нестерпимой жары, в кабинет директора, находившийся в противоположном конце галереи. Первое, что он увидел войдя, был Мюноз, стоявший у директорского стола между дамой и господином с сердитыми лицами. Несмотря на полностью закрытый отечный глаз, уродовавший лицо Мюноза, Жак испытал облегчение, увидев его живым. Но насладиться чувством облегчения он не успел. «Это ты его ударил?» — спросил директор, маленький лысый человечек с розовым лицом и раскатистым голосом. «Да», — ответил Жак еле слышно. «Я же говорила вам, месье, — вмешалась дама. — Андре

не хулиган». — «Мы дрались», — сказал Жак. «Я не желаю этого слышать, — сказал директор. — Тебе известно, что я запрещаю драться, даже вне школы. Ты нанес травму своему товарищу, ты мог его покалечить. В качестве первого предупреждения постоишь неделю в углу на всех переменах. Если подобное повторится еще раз, будешь исключен из школы. Я сообщу родителям, что ты наказан. А теперь возвращайся в класс». Жак, потрясенный, не мог сдвинуться с места. «Иди», — сказал директор. «Ну что, Фантомас?» — спросил месье Бернар, когда он вернулся. Жак плакал. «Ну, я тебя слушаю». Срывающимся голосом мальчик рассказал сначала про наказание, потом про то, что родители Мюноза пришли жаловаться, и наконец про драку. «Почему вы подрались?» — «Потому что он обозвал меня любимчиком». — «Опять?» — «Нет, тогда в классе». — «Ах, так это был он! И ты счел, что я недостаточно хорошо тебя защитил». Жак поднял на месье Бернара взгляд, полный горячей преданности: «О, нет, нет! Вы…» И тут он по-настоящему разрыдался. «Иди садись», — сказал месье Бернар. «Это несправедливо», — сказал мальчик. «Справедливо», — мягко сказал ему[106].

---

[106] Примечания: 106

[1] Так заканчивается фраза в рукописи.

На следующий день во время перемены Жак встал в угол в глубине школьного двора, ко всем спиной, так что мог только слышать веселые крики товарищей. Он переминался с ноги на ногу[107], ему до смерти хотелось побегать вместе со всеми. Оглядываясь, он видел иногда месье Бернара, который прогуливался в отдалении с другими учителями и не смотрел в его сторону. На следующий день он неслышно подошел к Жаку сзади и похлопал его по затылку: «Не вешай нос, шпингалет. Мюноз тоже наказан. Можешь посмотреть, я разрешаю». Действительно, у противоположной стены в одиночестве стоял мрачный Мюноз. «Твои сообщники решили не принимать его в игру всю неделю, пока ты будешь стоять в углу, — месье Бернар засмеялся. — Так что, видишь, вы оба получили свое. Это честно». Он наклонился к Жаку, улыбаясь с такой теплотой, что волна нежности затопила душу приговоренного: «Надо же, разбойник, глядя на тебя и не скажешь, что у тебя такой мощный удар!»

Этого человека, который теперь разговаривал с канарейкой и называл его малышом, хотя ему было сорок лет, Жак не переставал любить никогда,

---

[107] Примечания: 107

[a] Месье, он подставил мне ножку.

хотя годы, расстояние, а потом и Вторая мировая война постепенно полностью разлучили их. Жак долго ничего о нем не знал и обрадовался, как ребенок, когда в 1945 году пожилой солдат территориальных войск в старой шинели позвонил к нему в дверь в Париже, и оказалось, что это месье Бернар, опять взявшийся за оружие — «не потому, что мне нравилось воевать, — объяснил он, — а потому, что мне не нравился Гитлер, и ты, малыш, тоже боролся, о, я всегда знал, что у тебя хорошая закваска, надеюсь, ты не забываешь свою мать, да, лучше, чем твоя мама, на свете нет ничего, а теперь я возвращаюсь в Алжир, приезжай меня навещать», — и Жак навещал его каждый год в течение пятнадцати лет, и каждый год, уходя, целовал, как и сегодня, растроганного старика, который протягивал ему на пороге руку: это он швырнул Жака в жизнь, в одиночку приняв на себя ответственность за то, что вырвал его из родной почвы и послал познавать мир дальше[108].

Учебный год подходил к концу, и вот однажды месье Бернар задержал после уроков Жака, Пьера, Флери, своего рода феномен, который

---

[108] Примечания: 108

[a] Стипендия.

одинаково блестяще учился по всем предметам («у него политехническая голова», — говорил учитель), и Сантьяго, красивого мальчика, не такого способного, но добивавшегося успехов за счет усидчивости. «Итак, — сказал месье Бернар, когда класс опустел, — вы мои лучшие ученики. Я решил представить вас на стипендию для получения среднего образования. Для этого надо выдержать конкурс, тогда вам дадут стипендию, вы сможете учиться в лицее и получить степень бакалавра. Начальная школа дает самые важные знания. Но она не выведет вас в люди. А лицей откроет перед вами все двери. Я хочу, чтобы в эти двери вошли в первую очередь мальчики из бедных семей, такие, как вы. Но для этого мне нужно согласие ваших родителей. Топайте».

Они ушли растерянные и, даже не обсудив это друг с другом, разошлись по домам. Жак застал в квартире только бабушку, она перебирала в столовой чечевицу на покрытом клеенкой столе. Он помялся и решил дождаться прихода матери. Она пришла усталая, надела фартук и села помогать бабушке перебирать чечевицу. Жак тоже предложил помочь, и ему дали белую тарелку из грубого фарфора, на которой легче было отличить сор от чечевицы. Уткнувшись в тарелку,

Жак рассказал о разговоре с учителем. «Что это за новости? — сказала бабушка. — Когда сдают экзамен на бакалавра?» — «Через шесть лет», — ответил Жак. Бабушка отодвинула свою тарелку. «Ты слышала?» — спросила она Катрин Кормери. Та не слышала. Жак медленно повторил ей все сначала. «А, — отозвалась она, — это потому, что ты умный». — «Умный, не умный, а на будущий год мы собирались отдать его учиться ремеслу. Ты же знаешь, у нас нет денег. Он будет хоть немного, но зарабатывать». — «Да, конечно», — сказала Катрин.

Свет и зной незаметно смягчались. В этот час, когда все фабрики и мастерские работали полным ходом, улица была тиха и пустынна. Жак смотрел в окно. Он и сам не знал, чего ему хочется, если не считать желания слушаться месье Бернара. Но в девять лет он не мог, да и не умел противостоять бабушке. Она, однако, явно колебалась. «А кем ты станешь потом?» — «Не знаю. Может быть, учителем, как месье Бернар». — «Да, через шесть лет!» Она все медленнее перебирала чечевицу. «Нет, — сказала она наконец. — Это не для таких бедняков, как мы. Скажешь месье Бернару, что мы не можем».

На следующий день остальные трое сказали

Жаку, что их родители согласны. «А твои?» — «Не знаю». Он вдруг почувствовал себя еще более нищим, чем его друзья, и у него заныло сердце. После уроков все четверо остались. Пьер, Флери и Сантьяго сказали месье Бернару, что все в порядке. «А у тебя, малыш?» — «Не знаю». Месье Бернар посмотрел на него. «Хорошо, — сказал он остальным. — Но вам придется по вечерам, после уроков, заниматься со мной. Я все это устрою, а сейчас можете идти». Когда они ушли, месье Бернар сел в кресло и притянул Жака к себе. «Выкладывай». — «Бабушка говорит, что мы слишком бедные, и я с будущего года должен работать». — «А мать?» — «У нас командует бабушка». — «Знаю», — сказал месье Бернар. Он задумался, потом обнял Жака. «Послушай, ты должен ее понять. У нее тяжелая жизнь. Они одни с твоей матерью вырастили вас, тебя и твоего брата, и сделали из вас хороших ребят. Конечно, она боится, иначе и быть не может. Несмотря на стипендию, им придется все-таки кормить тебя, и уж во всякое случае ты еще шесть лет не будешь приносить денег в дом. Понимаешь?» Жак вскинул голову, но не взглянул на учителя. «Ладно. Может быть, мы сумеем ей объяснить. Бери портфель, я иду с тобой!» — «Ко мне домой?» — спросил Жак.

«Ну да, мне приятно будет повидать твою маму».

Вскоре месье Бернар, стоя рядом с растерянным Жаком, уже стучал в дверь их квартиры. Бабушка открыла, вытирая руки о фартук, завязанный так туго, что из-под него выпирали складки живота. Увидев учителя, она невольно вскинула руки и пригладила волосы. «Ну, мамаша, вы, как всегда, трудитесь? Да, достается вам, что и говорить». Бабушка провела гостя через спальню в столовую, усадила за стол, вынула рюмки и анисовку. «Нет, нет, спасибо, я зашел на минутку, поговорить с вами». Для начала он расспрашивал о ее детях, о том времени, когда они все жили на ферме, о муже, рассказал о своих детях. В этот момент вошла Катрин Кормери: она разволновалась, назвала месье Бернара «господин учитель», бросилась к себе в комнату причесываться и надевать чистый фартук, потом вернулась и села чуть поодаль на краешек стула. «А ты, — сказал месье Бернар Жаку, — пойди погуляй. Понимаете, — обратился он к бабушке, — я буду его хвалить, и он может возомнить, будто все это правда...» Жак вышел, сбежал вниз по лестнице и остановился у входной двери. Прошел час, а он так и не двинулся с места; улица перед ним постепенно заполнялась народом, небо над фикусами приобрело зеле-

новатый оттенок, и вдруг за его спиной возник месье Бернар. Он потрепал Жака по затылку. «Ну, вот, — сказал он, — мы договорились. Твоя бабушка — замечательная женщина. А мать… никогда не забывай ее». «Месье! — раздался вдруг голос бабушки. Она стояла на лестнице и уголком фартука вытирала глаза. — Я забыла… вы сказали, что будете давать Жаку дополнительные уроки…» — «Конечно, — сказал месье Бернар. — Ему придется попотеть, будьте покойны». — «Но нам нечем вам платить». Месье Бернар внимательно посмотрел на нее. Он держал Жака за плечи. «Не волнуйтесь, — он легонько встряхнул Жака, — ваш внук уже расплатился со мной». Он быстро ушел, а бабушка взяла Жака за руку и повела наверх, первый раз в жизни крепко сжав ему руку с какой-то горькой нежностью. «Маленький мой, — повторяла она, — маленький мой». Целый месяц месье Бернар каждый день оставлял четверых ребят после уроков и по два часа занимался с ними. Жак возвращался вечером усталый, но полный воодушевления, и садился еще за школьные уроки. Бабушка смотрела на него со смешанным чувством печали и гордости. «У него хорошая голова», — убежденно говорил дядя Эрнест и стучал себя кулаком по лбу. «Да, — отзывалась бабуш-

ка. — Но как мы оправимся?» Однажды вечером она вдруг ахнула: «А как же первое причастие?» По правде говоря, религия не играла никакой роли в жизни семьи[109]. Никто не ходил к мессе, никто не цитировал в назидание божественные заповеди и не упоминал о награде или наказании на том свете. Когда бабушке сообщали, что кто-то умер, она говорила: «Что ж, отпукал свое». Если же речь шла о человеке ей близком или во всяком случае считавшемся таковым, она вздыхала: «Бедняга, он был такой молодой!» — даже если по возрасту покойному давно уже полагалось умереть. Это не было бесчувственностью. Просто она слишком часто видела смерть. Двое ее детей, муж, зять, погибшие на войне племянники. Смерть, в каком-то смысле, была частью ее жизни, к тому же необходимость справляться с сиюминутной нуждой была для нее слишком острой, острее даже, чем для большинства алжирцев, в принципе чуждых — в силу тягот жизни и всей своей общей судьбы — того благоговения перед смертью, которое расцветает на вершинах цивилизаций[110]. Люди воспринимали здесь смерть как некое ис-

[109] Примечания: 109

[1] На полях три неразборчивых строки.

[110] Примечания: 110

[a] *Смерть в Алжире.*

пытание: через него нужно пройти, как прошли их предшественники, и постараться проявить мужество, считавшееся здесь главным человеческим качеством, но говорить о таких вещах не принято, лучше до поры до времени все это просто забыть и отстранить от себя. (Отсюда и шутовской характер любых похорон. Кузен Морис?) Если прибавить к этому общему настрою изнурительную повседневную борьбу и труд, не говоря уже о страшном душевном износе, порождаемом бедностью, как это было, например, в семье Жака, то места для религии практически не оставалось. Для дяди Эрнеста, чья жизнь проходила на уровне физических ощущений, религия воплощалась в зримых образах священника и церковной пышности. Обладая комическим даром, он не упускал случая передразнить церемонию богослужения, украшая спектакль нечленораздельными [протяжными] звуками, изображающими латынь, и в заключение представлял верующих, опускающих голову при звуках колокола, и священника, который, воспользовавшись этим, пьет потихоньку церковное вино. Катрин Кормери была в семье единственным человеком, чье смирение наводило на мысль о религиозности, но это смирение и было всей ее верой. Она посмеивалась

над шуточками брата, не порицая и не одобряя их, но обращалась к священникам, которых ей доводилось встречать, «господин кюре». Она никогда не говорила о Боге. По сути, Жак ни разу не слышал в детстве этого слова, и его самого Бог нисколько не интересовал. Жизнь, таинственная и ослепительная, захватывала его целиком.

В то же время, если разговор заходил о чьих-то гражданских похоронах, то, как это ни парадоксально, бабушка или даже дядя нередко сокрушались по поводу отсутствия священника: «зарыли как собаку», говорили они. Потому что религия составляла для них, как для большинства алжирцев, часть общественной жизни, но не более того. Они были католиками, как были французами, это обязывало к соблюдению определенных обрядов. Собственно говоря, этих обрядов было ровно четыре: крещение, первое причастие, венчание (если таковое требовалось) и соборование. В промежутках, естественно, весьма длительных, между этими событиями они были заняты другим, и прежде всего — выживанием.

Жак, разумеется, тоже должен был принять первое причастие, как его брат Анри, сохранивший тягостные воспоминания не столько

о самой церемонии, сколько о ее последствиях, ибо ему пришлось потом в течение нескольких дней наносить визиты с повязкой на рукаве всем друзьям и родственникам, а те со своей стороны должны были делать ему небольшие денежные подарки, которые он принимал с чувством глубочайшей неловкости, а бабушка потом все деньги забирала, оставляя ему лишь самую малость, потому что, как она говорила, на первое причастие «пришлось потратиться». Но эта процедура происходила обычно лет в двенадцать, и перед ней полагалось два года изучать катехизис. Значит, Жака это ожидало только на втором или третьем году обучения в лицее. Это обстоятельство как раз и напугало бабушку. У нее было весьма смутное и устрашающее представление о лицее, ей казалось, что там надо заниматься раз в десять больше, чем в начальной школе, потому что лицей сулил более блестящие возможности в будущем, а по ее понятиям, никакое улучшение материального положения не могло быть достигнуто без дополнительного труда. Она всей душой желала, чтобы Жак добился успеха, дабы оправдать принесенные ею жертвы, и считала, что время, которое придется потратить на уроки закона Божьего, будет отнято у этого

труда. «Нет, — сказала она, — ты не можешь одновременно учиться в лицее и ходить на уроки катехизиса». — «Ну и ладно, обойдусь без первого причастия», — ответил Жак, надеясь увильнуть от утомительных визитов и от нестерпимого унижения, коим являлось для него получение денег от посторонних. Бабушка посмотрела на внука. «Почему? Все можно уладить. Одевайся. Пойдем поговорим с кюре». Она встала и решительно направилась к себе в комнату. Когда она вышла, на ней, вместо домашней юбки и кофты, было ее единственное выходное платье []^[111], застегнутое наглухо, а на голове черная шелковая косынка. Из-под косынки виднелись гладко зачесанные седые волосы, а светлые глаза и плотно сжатые губы придавали ей непреклонный вид.

Она сидела в ризнице уродливой псевдоготической церкви Святого Карла, держа за руку стоявшего рядом Жака, а напротив сидел священник, толстый человек лет шестидесяти в серебристом венце седых волос, с круглым, чуть дряблым лицом, мясистыми губами и доброй улыбкой, он ждал, сложив руки поверх натянутой на расставленных коленях рясы. «Я хочу, — ска-

---

[111] Примечания: 111

[1] Неразборчивое слово.

зала бабушка, — чтобы мальчик принял первое причастие». — «Прекрасно, мадам, мы сделаем из него доброго христианина. Сколько ему лет?» — «Девять». — «Что ж, чем раньше, тем лучше. Он будет изучать катехизис три года и как следует подготовится к этому знаменательному дню». — «Нет, — сухо сказала бабушка. — Он должен принять причастие сейчас». — «Сейчас? Но церемония у нас состоится через месяц, а он может предстать перед алтарем только после двух лет занятий». Бабушка объяснила ситуацию. Ей однако не удалось убедить священника в том, что среднее образование нельзя совместить с изучением катехизиса. Он терпеливо и мягко ссылался на собственный опыт, приводил в пример других… Бабушка встала. «В таком случае, он обойдется без первого причастия. Пошли, Жак», — и она повела его к выходу. Кюре бросился за ними. «Подождите, подождите, — мадам!» Он ласково усадил ее на место и снова начал увещевать. Но бабушка качала головой, как старый упрямый мул. «Сейчас или никогда». В конце концов кюре сдался. Было решено, что Жак пройдет ускоренный курс катехизиса и примет причастие через месяц. Священник, качая головой, проводил их до дверей и потрепал Жака по

щеке. «Слушай хорошенько все, что будут рассказывать», — сказал он. И посмотрел на мальчика с некоторой грустью.

Таким образом, к дополнительным занятиям с месье Жерменом прибавились еще вечерние уроки закона Божьего по четвергам и субботам. Экзамены на стипендию и первое причастие надвигались одновременно, и дни его были так перегружены, что не оставалось ни минуты свободного времени для игр, даже по воскресеньям, причем по воскресеньям особенно, ибо, когда он мог наконец оторваться от учебников, бабушка нагружала его домашними делами, ссылаясь на грядущие жертвы, которые семья должна будет принести на алтарь его образования, и на все те долгие шесть лет, когда от него не будет никакой пользы в хозяйстве. «Но я еще, может быть, провалюсь, — сказал однажды Жак. — Экзамены очень трудные». Иногда ему даже хотелось этого, ибо груз тех жертв, о которых ему постоянно твердили, был слишком тяжел для его мальчишеской гордости. Бабушка посмотрела на него озадаченно. Она не думала о такой возможности. Потом пожала плечами и, не смущаясь тем, что противоречит сама себе, объявила: «Попробуй только! Выдеру так, что своих не узнаешь».

Занятия катехизисом вел другой священник, казавшийся невероятно длинным в своей черной рясе, сухой и тощий, с похожим на орлиный клюв носом и впалыми щеками, настолько же суровый и резкий, насколько старый кюре был добрым и мягким. Его метод преподавания состоял в зубрежке и, несмотря на всю его примитивность, был, наверно, единственно пригодным для темного и неподатливого народца, который надлежало духовно воспитать. Нужно было выучить ответы на вопросы: «Что есть Бог?»[112] Это слово не значило ровно ничего для его юных подопечных, и Жак, обладавший прекрасной памятью, повторял вопросы и ответы наизусть, никогда не вдумываясь в их смысл. Когда отвечал кто-то другой, он мечтал, ротозейничал или строил рожи мальчишкам. Однажды долговязый кюре заметил это и, сочтя, что гримасы относятся к нему, решил заставить Жака уважать свой священный сан: он вызвал его, поставил перед всеми и длинной костлявой рукой, без лишних слов, с размаху ударил по щеке. Удар был такой сильный, что чуть не сбил Жака с ног. «А теперь иди на место», — сказал священник. Мальчик по-

[112] Примечания: 112

[a] Посмотреть учебник катехизиса.

смотрел на него без единой слезинки (всю жизнь у него вызывали слезы только доброта и любовь, и никогда — зло или гонения, которые, наоборот, делали его твердым и непреклонным) и пошел к своей скамье. Левая щека горела, во рту был вкус крови. Кончиком языка он тронул изнутри щеку и обнаружил, что она поранена и кровоточит. Он сглотнул кровь.

Во время всех оставшихся уроков катехизиса он был безучастен, без неприязни, но холодно смотрел на священника, когда тот к нему обращался, без запинки отчеканивал вопросы и ответы, касавшиеся божественной природы и жертвы Христа, но мысли его были далеко. Он думал о грядущем двойном экзамене, который сливался для него в один. Поглощенный занятиями и этими нескончаемыми мыслями, он испытывал неясное волнение только во время вечерних богослужений, происходивших в уродливой холодной церкви, где был однако орган, и Жак, слышавший до сих пор лишь пошлые песенки, впервые в жизни слушал настоящую музыку, погружаясь в грезы более властные, более глубокие, пронизанные в полумгле золотыми отблесками церковной утвари и одеяний и приближавшие его наконец к тайне, но к тайне

безымянной, — лица Троицы, чьи имена и четкие определения давал катехизис, не имели к ней никакого отношения, ибо она лишь расширяла для него тот голый мир, где он обитал: эта тайна, живая, близкая и неясная, была продолжением привычной тайны, заключенной в слабой улыбке или молчании матери, когда он с наступлением сумерек входил в столовую, где она сидела без света, незаметно превращаясь сама в сгусток чуть более плотной тьмы, — мальчик останавливался на пороге, а она задумчиво смотрела в окно на оживленное, но беззвучное для нее движение улицы, и сердце его сжималось от безнадежной любви к матери и к тому, что в ней уже — а может быть, и никогда — не принадлежало миру и грубой повседневности. Потом было первое причастие, но у Жака не сохранилось о нем почти никаких воспоминаний, за исключением исповеди накануне, когда он признался в тех немногих поступках, которые, как ему сказали, следовало считать дурными, то есть во всяких пустяках, а на вопрос: «Посещали ли вас греховные мысли?» — ответил наобум: «Да, отец мой», — хотя не понимал, как мысль может быть греховной, и до следующего дня жил в страхе, что у него промелькнет без его ведома греховная мысль

или сорвется с языка неблагозвучное словечко, каковых имелось немало в его ученическом лексиконе, но это было хотя бы понятно, и он сумел удержаться от них до следующего утра, когда состоялась наконец церемония, и он в матросском костюмчике, с повязкой на рукаве, с маленьким молитвенником и четками из белых шариков — все это было подарено более состоятельными родственниками (тетей Маргерит и др.) — стоял со свечой в главном проходе церкви, в цепочке других детей со свечами, под восхищенными взглядами взрослых, стоявших вдоль рядов кресел, и тут вдруг грянула музыка, она всколыхнула его, наполнила страхом и небывалым восторгом, он впервые вдруг ощутил собственную силу, свою неисчерпаемую способность побеждать и жить. Это удивительное чувство переполняло его до конца церемонии, отвлекая от всего происходящего, включая и сам момент причастия, оно не покидало его и по дороге домой, и во время званого обеда, где присутствовала приглашенная родня и еды было больше, чем обычно, что постепенно привело в возбуждение гостей, не привыкших много есть и пить, и в конце концов их охватило буйное веселье, оно нарушило приподнятое состояние Жака и обескуражило

его настолько, что за десертом, когда оживление за столом достигло апогея, он вдруг разрыдался. «Что это на тебя нашло?» — спросила бабушка. «Не знаю, не знаю», — и бабушка, выйдя из себя, дала ему пощечину. «Теперь ты хоть будешь знать, почему плачешь», — сказала она. Но он и так это знал, ибо напротив сидела мать, едва заметно улыбаясь ему грустной улыбкой.

«Все прошло хорошо, — сказал месье Бернар. — Что ж, а теперь за работу». Еще несколько дней усердных занятий, последние уроки с месье Бернаром, уже не в школе, а у него дома (описать квартиру?), и вот настал день, когда четверо мальчиков собрались рано утром на трамвайной остановке возле дома Жака, взяв с собой бювар, линейку и пенал, с ними рядом стоял месье Жермен, а мать и бабушка, свесившись с балкона, взволнованно махали им вслед.

Лицей, где принимали экзамены, находился на другом конце города — то есть в прямо противоположной точке дуги, по которой город тянулся вокруг залива, в районе, некогда роскошном и унылом, но постепенно превращенном испанскими иммигрантами в один из самых людных и оживленных в Алжире. Огромное квадратное здание лицея возвышалось над всей улицей. Туда

вели три лестницы: две боковые и одна — широкая и монументальная — в центре. Вдоль нее тянулись хилые насаждения бананов и[113], защищенные решетками от варварства учеников. Центральная лестница, как и две боковые, вела на галерею, где располагался парадный вход, открывавшийся лишь в особо торжественных случаях, и дверь поменьше, на каждый день, охраняемая привратником в застекленной будке.

На этой-то галерее и столпились прибывшие заранее ученики, они старались скрыть волнение, держась подчеркнуто развязно и непринужденно, за исключением некоторых, чье молчание и бледные лица выдавали откровенный страх. Месье Бернар и его подопечные тоже стояли в этой толпе перед закрытой дверью, в прохладе раннего утра, над влажной улицей, которую солнце не успело еще превратить в сухую и пыльную. Они приехали на добрые полчаса раньше времени и стояли молча, сбившись в кучку возле учителя, а он не знал, что им сказать, и внезапно ушел, объявив, что сейчас вернется. Он действительно скоро вернулся, элегантный, как всегда, в шляпе с загнутыми полями и надетых ради такого случая

---

[113] Примечания: 113

[1] В рукописи слово после «и» отсутствует.

гетрах, неся в обеих руках по два скрученных снизу кулечка из папиросной бумаги, а когда он подошел ближе, они увидели на бумаге жирные пятна. «Вот вам рогалики, — сказал месье Бернар. — Съешьте один сейчас, а другой в перерыве, в десять часов». Они сказали спасибо и начали есть, но прожеванный мякиш с трудом проходил в горло. «Постарайтесь не нервничать, — твердил месье Бернар. — Внимательно прочтите условие задачи и тему сочинения. Прочтите несколько раз. У вас будет достаточно времени». Да, конечно, они прочтут несколько раз, сделают так, как он скажет, потому что он знает все и рядом с ним жизнь проста и легка, надо только слушаться его всегда и во всем. Около маленькой двери поднялся шум. Все собравшиеся — шестьдесят человек — устремились туда. Служитель открыл дверь и начал выкликать фамилии по списку. Фамилия Жака была названа одной из первых. Он застыл в нерешительности, держа учителя за руку. «Иди, сынок», — сказал тот. Жак, дрожа, направился к двери и, прежде чем войти, оглянулся и посмотрел на учителя. Месье Бернар, большой, сильный, спокойно улыбался Жаку и ободряюще

кивал головой[114].

В полдень месье Бернар ждал их у входа. Они показали ему свои черновики. Только Сантьяго ошибся в решении задачи. «Очень хорошо», — коротко сказал он Жаку. В час он привел их обратно. В четыре снова был на месте и посмотрел их работы. «Ну, что ж, — сказал он. — Будем ждать». Через два дня они снова собрались там, все пятеро, в десять часов утра. Маленькая дверь открылась, и служитель опять начал читать список, на сей раз намного короче — список выдержавших конкурс. Жак не разобрал в шуме своей фамилии. Но он вдруг получил радостный подзатыльник и услышал голос месье Бернара: «Браво, мой мальчик! Ты прошел». Провалился только очаровательный Сантьяго, и они все смотрели на него с какой-то рассеянной жалостью. «Ничего, — говорил он, — пустяки». А Жак перестал понимать, где он и что происходит вокруг, они ехали вчетвером на трамвае, «я зайду к вашим родителям, — сказал месье Бернар, — и начну с Кормери, потому что он живет ближе всех», — их провели в бедную столовую, куда набились женщины — бабушка, мать, соседки Массой, — а он жался к учителю,

[114] Примечания: 114

[a] проверить программу экзаменов на стипендию.

в последний раз вдыхая запах одеколона, льнул к согревающему теплу этого сильного человека, а бабушка вся сияла, гордясь внуком перед соседками. «Спасибо, месье Бернар, спасибо», — повторяла она, а месье Бернар гладил Жака по голове. «Я тебе больше не нужен, — сказал он, — у тебя будут теперь более ученые педагоги. Но ты знаешь, где меня найти, приходи, если понадобится моя помощь». Он ушел, и Жак почувствовал себя вдруг потерянным среди всех этих женщин. Он бросился к окну и долго смотрел вслед учителю, который, помахав последний раз рукой, оставил его одного, и, вместо счастья победы, огромное детское горе сдавило ему сердце, словно он уже знал, что эта победа вырвет его из простого и теплого мира бедноты, замкнутого, словно остров среди общества, но где нищета — это и семья и круговая порука, и швырнет его в мир чужой и незнакомый, и Жак не мог поверить, что там учителя знают больше, чем тот, чье сердце знало все; ему предстояло отныне учиться постигать жизнь самому, становиться мужчиной без поддержки единственного человека, который был ему опорой, в одиночку взрослеть и выходить в люди, заплатив за это самую дорогую цену.

7. Мондови: колонизация и отец

[115] И вот теперь он взрослый… По дороге из Бона в Мондови Жаку Кормери то и дело попадались ощетинившиеся ружьями джипы, они медленно курсировали по шоссе взад и вперед…

— Месье Вейяр?

— Да.

Человек, стоявший перед Жаком на пороге маленькой фермы, был невысокий, но крепкий и широкоплечий. Одной рукой он придерживал дверь, чтобы она не захлопнулась, а другой опирался о косяк, как бы открывая путь в дом и в то же время не впуская в него. Судя по редким седоватым волосам, придававшим ему сходство с римлянином, ему было около сорока. Но глядя на загорелое, с правильными чертами лицо, светлые глаза и слегка приземистую, но ладную фигуру, без намека на жир или брюшко, ему можно было дать гораздо меньше; одет он был в штаны цвета хаки, плетеные кожаные сандалии и голубую рубашку с карманами. Фермер молча выслушал объяснения Жака. «Входите», — сказал он нако-

---

[115] Примечания: 115

[a] Телега, поезд, пароход, самолет.

нец и посторонился. Проходя через небольшой коридор с побеленными стенами, где не было никакой мебели, кроме коричневого сундука и изогнутой стойки для зонтов, Жак услышал за спиной смешок хозяина.

— Значит, паломничество! Что ж, самое время!

— Почему? — спросил Жак.

— Пойдемте в столовую, — сказал фермер. — Там прохладнее.

Столовая оказалась чем-то средним между комнатой и верандой, все шторы из гибкой соломки, за исключением одной, были опущены. Если не считать стола и буфета светлого дерева, вся мебель состояла из плетеных кресел и шезлонгов. Оглянувшись, Жак обнаружил, что он один. Он подошел к застекленной стене и в просвет между шторами увидел двор, усаженный авраамовыми деревьями, под которыми поблескивали два ярко-красных трактора. Чуть подальше, под еще терпимым одиннадцатичасовым солнцем, виднелись виноградники. Через несколько минут вошел хозяин, неся поднос, где стояла анисовка, стаканы и бутылка холодной воды.

Фермер поднял свой стакан, наполненный матовой жидкостью.

— Если бы вы приехали позже, то, скорее всего,

ничего бы здесь не нашли. Во всяком случае, ни одного француза, способного вам что-нибудь рассказать.

— Меня послал к вам старый доктор, это он сказал мне, что я родился здесь, на вашей ферме.

— Да, когда-то она была частью угодий Сент-Апотр, но мои родители купили ее уже после войны.

Жак разглядывал комнату.

— Вы родились наверняка не в этой обстановке. Родители все перестроили.

— Они знали моего отца?

— Вряд ли. Они жили до войны у тунисской границы, а потом им захотелось быть поближе к цивилизации. Для них Сольферино — это цивилизация.

— Они ничего не слыхали о бывшем управляющем?

— Нет. Вы же сами здешний и знаете, как это бывает. Тут ничего не берегут. Ломают и строят заново. Думают о будущем, а все прочее забывается.

— Что ж, — сказал Жак. — Напрасно я вас побеспокоил.

— Нет, нет, — ответил тот. — Я рад.

И он улыбнулся. Жак допил свой стакан.

— Ваши родители вернулись на границу?

— Нет, там запретная зона. Застава. И потом, надо знать моего отца.

Он тоже опустошил свой стакан и, словно развеселившись от этого, засмеялся:

— Это настоящий колонист. Старой закалки. Из тех, над которыми смеются в Париже. Он всегда был крут. Сейчас ему шестьдесят, он длинный и поджарый, как пуританин, с [лошадиной] головой. Этакий патриарх, понимаете. Батраков-арабов заставлял вкалывать до седьмого пота, но надо отдать ему справедливость, своих сыновей тоже. В прошлом году, когда пришлось эвакуироваться, он тут дал всем прикурить. Оставаться здесь было невозможно. Спать ложились с ружьем. Это когда напали на ферму Раскиль, помните?

— Нет, — сказал Жак.

— Ну как же, там зарезали отца и двоих сыновей, мать и дочь долго насиловали, потом убили… Да… Префект имел неосторожность сказать собравшимся фермерам, что надо пересмотреть [колониальные] проблемы и отношение к арабам и что времена теперь другие. Старик ответил, что на его земле ему никто не указ. Но с тех пор вообще перестал разговаривать. По ночам он

иногда вставал и выходил. Мать следила за ним сквозь ставни и видела, как он бродит по виноградникам. Когда пришел приказ об эвакуации, он не сказал ни слова. Урожай был собран, вино уже бродило в чанах. Он вскрыл чаны, пошел к источнику соленой воды, которую сам когда-то отвел, и пустил поток прямо на свои земли, потом поставил на трактор плуг. Три дня подряд, молча, с непокрытой головой, он, не вылезая из трактора, выкорчевывал свои виноградники. Представляете себе зрелище: старик, тощий, как кочерга, трясется на тракторе и жмет изо всех сил на рычаг, когда плуг не справляется с какой-нибудь упрямой лозой. Он даже не ходил домой есть — мать приносила ему хлеб, сыр и [колбасу], он все это съедал, не спеша, как делал все и всегда, отбрасывал недоеденный ломоть, чтобы еще поднажать, — и так от восхода до заката, не глядя ни на горы у горизонта, ни на арабов, которые смотрели на него издали и тоже молчали. А когда некий молодой капитан, которого кто-то известил, явился и попросил объяснений, отец ответил: «Молодой человек, коль скоро все, что мы здесь сделали, преступление, то надо его искоренить». Когда все было кончено, он вернулся на ферму, прошел через

двор, залитый вином из чанов, и начал собирать чемоданы. Рабочие-арабы ждали его во дворе. (Там был еще патруль, присланный капитаном невесть зачем, во главе с молодым лейтенантом, который ожидал приказаний.)«Что нам делать, хозяин?» — «Будь я на вашем месте, я бы подался к партизанам — они победят. Во Франции больше не осталось мужчин». Фермер засмеялся:

— А? Не в бровь, а в глаз!

— Они живут с вами?

— Нет. Отец больше слышать не желает об Алжире. Поселился в Марселе, в современной квартире… Мама пишет, что он не находит себе места.

— А вы?

— О, я отсюда не двинусь до конца. Что бы ни случилось. Семью отправил в столицу, а меня увезут только в гробу. В Париже этого не понимают. А знаете, кто мог бы нас понять?

— Арабы.

— Точно. Мы созданы, чтобы понимать друг друга. Да, они скоты и дикари, как и мы, зато кровь и у них и у нас еще не скисла. Мы еще некоторое время постреляем друг в друга, повыпускаем друг другу кишки. А потом опять будем жить бок о бок. Таков закон этой земли. Еще анисовки?

— С водой, — сказал Жак.

Выпив, они вместе вышли. Жак спросил, не осталось ли кого-то в округе, кто мог бы знать его родителей. Нет, по мнению Вейяра, никого, за исключением старика доктора, который когда-то помог ему появиться на свет: выйдя на пенсию, он остался жить в Сольферино. Сент-Апотр дважды переходил из рук в руки, много рабочих-арабов умерло между двумя войнами, много родилось других. «Все здесь меняется, — повторял Вейяр. — Меняется быстро, очень быстро, и люди забывают». Впрочем, может быть, старик Тамзал, бывший сторож одной из ферм Сент-Апотра… В тринадцатом ему было лет двадцать. Во всяком случае, Жак хоть прогуляется и посмотрит на край, где он родился.

Со всех сторон, кроме севера, местность обступали далекие горы — в мареве полуденного зноя они казались гигантским конгломератом камня и искрящейся дымки, а между ними в некогда болотистой долине реки Сейбуз, под белым от жары небом, тянулись к морю ряды виноградников, прямые, как стрелы, с синеватой от купороса листвой и уже потемневшими гроздьями: кое-где они перемежались кипарисами или эвкалиптовыми рощами, в тени которых приютились дома.

Жак и Вейяр шли по проселочной дороге, и от каждого их шага столбом подымалась красная пыль. Перед ними, до самых гор, дрожал воздух и гудело солнце. Когда они дошли до маленького домика за платановой рощей, они были все в поту. Невидимая собака встретила их яростным лаем.

Домик выглядел довольно ветхим, и его деревянная дверь была наглухо закрыта. Вейяр постучал. Лай усилился. Судя по всему, он доносился с заднего двора. Никто не вышел. «Времена доверия! — сказал Вейяр. — Они дома. Но выжидают».

— Тамзал! Это Вейяр! — крикнул он и продолжал: — Полгода назад пришли и забрали его зятя, интересовались, не снабжает ли он партизан. Больше о нем никто ничего не слышал. Месяц назад Тамзалу сказали, что он убит — видимо, при попытке к бегству.

— А-а, — сказал Жак. — Он действительно снабжал партизан?

— Может, да, а может, нет. Что вы хотите, идет война. Поэтому так долго не открывают двери в стране гостеприимства.

В эту минуту дверь как раз отворилась. Тамзал,

маленький с [][116] волосами, в широкой соломенной шляпе и заплатанном синем комбинезоне, улыбнулся Вейяру, посмотрел на Жака.

— Это друг. Он здесь родился.

— Заходи, — сказал Тамзал, — попьешь чаю.

Тамзал ничего не помнил. Да, может быть. Он слышал от своего дяди об управляющем, который проработал здесь несколько месяцев, это было после войны. «До войны», — сказал Жак. Или до, очень может быть, он был тогда совсем молодой, а что сталось с его отцом? Погиб на войне.

— Мектуб[117], — сказал Тамзал. — Война — это плохо.

* * *

— Войны были всегда, — сказал Вейяр. — Однако люди быстро привыкают к миру. Им кажется, что мир — это нормально. Нет, нормальна как раз война[118].

— Люди потеряли рассудок, — сказал Тамзал,

---

[116] Примечания: 116

[1] Два неразборчивых слова.

[117] Примечания: 117

[2] Предначертано *(араб.)*.

[118] Примечания: 118

[a] развить.

принимая поднос с чаем из рук женщины, которая, пряча лицо, протягивала его из-за двери.

Они выпили обжигающий чай, поблагодарили и пошли обратно по накаленной дороге через виноградники.

— Я возвращаюсь в Сольферино. Меня ждет такси, — сказал Жак. — Доктор пригласил меня к обеду.

— Поеду-ка я с вами, хоть и без приглашения. Подождите. Я прихвачу закуску.

Потом, в самолете, уносившем его в столицу, Жак пытался привести в порядок собранные им сведения. По правде говоря, их было немного, и они не касались прямо его отца. Казалось, тьма буквально на глазах поднимается от земли, чтобы в конце концов поймать самолет, который летел ровно, не отклоняясь, словно винт, входящий в глубину мрака. Темнота угнетала Жака, ему было трудно дышать, он чувствовал себя как бы в двойном заточении среди замкнутого пространства самолета и тьмы. Перед глазами у него стояла запись о его рождении в регистрационной книге и подписи двоих свидетелей — типичные французские фамилии, какие часто видишь на парижских вывесках; старый доктор, рассказывая о приезде отца в Сент-Апотр

и о появлении Жака на свет, объяснил, что это были двое коммерсантов из Сольферино, первые встречные, согласившиеся оказать услугу отцу, у них действительно были фамилии обитателей парижских предместий, но что же тут удивительного, ведь Сольферино основали участники революции сорок восьмого года. «Да, да, — подхватил Вейяр, — мой прадед был как раз из таких. Вот откуда у отца революционная закваска». Он рассказал, что прадед его был плотником из предместья Сен-Дени, а прабабка — прачкой. В Париже была безработица, народ волновался, и Учредительное собрание проголосовало за выделение пятидесяти миллионов на освоение колонии[119]. Каждому переселенцу пообещали жилье и от двух до десяти гектаров земли. «Сами понимаете, в желающих недостатка не было. Их набралось больше тысячи. И все мечтали о земле обетованной, особенно мужчины. Женщины, те побаивались неизвестности. Но мужчины! Они не зря сражались на баррикадах! Это было что-то вроде веры в деда Мороза. Только дед Мороз виделся им в бурнусе. Что ж, они получили свой рождественский подарок. Из Парижа они отбыли

[119] Примечания: 119

[a] 48 (цифра обведена автором. — *Примеч. изд.*).

в сорок девятом, а первый дом здесь был построен в пятьдесят четвертом. За это время…»

Жаку стало легче дышать. Мрак за окном слегка рассеялся, первая волна темноты отхлынула, словно море во время отлива, оставив после себя звездные россыпи, и небо было теперь покрыто звездами. Только оглушительный шум моторов мешал ему окончательно прийти в себя. Он думал о старом торговце фруктами и фуражом, который знал когда-то его отца, смутно помнил его и без конца повторял: «Молчаливый, он был очень молчаливый». Но шум действовал отупляюще, застилал сознание дурманом, Жак силился увидеть сквозь него отца, как-то представить себе его, но тот терялся в пространствах огромного враждебного края, растворялся в обезличенной истории этой деревни и этой равнины. Подробности, выяснившиеся в разговоре с доктором, плыли к нему, как баржи, на которых, по рассказам доктора, парижские переселенцы отправились в Сольферино. Да, да, на баржах, тогда не было поездов, впрочем, нет, были, но только до Лиона. Так вот, эти баржи — их было шесть и тянули их лошади — провожали под духовой оркестр, игравший «Марсельезу» и «Песнь уходящих в бой», их благословляли с берегов Сены священники, а

на знамени было вышито название несуществующей деревни, которую переселенцам предстояло чудесным образом сотворить на пустом месте. Баржи потихоньку отплывали, Париж ускользал, терял плотность, таял на глазах, да пребудет с вами благословение Господне, и даже у самых сильных, у железных защитников баррикад, заныло сердце, они молчали, и жены испуганно жались к ним, а потом пришлось спать в трюмах на соломенных тюфяках под их шелковистый шорох, вокруг стояла грязная вода, но поначалу женщины еще раздевались, по очереди загораживая друг друга простынями. При чем тут его отец? Ни при чем, сто лет прошло с тех пор, как эти баржи, под эскортом орешника и голых плакучих ив, плыли целый месяц по осенним каналам, по течению больших и малых рек, покрытых последними желтыми листьями, прибывали в портовые города под приветственные звуки официальных фанфар и снова отплывали, увозя новых кочевников к неведомым берегам, — и все-таки они больше говорили ему о молодом солдате, похороненном в Сен-Бриё, чем путаные [старческие] воспоминания, которые он собирал по крохам. Моторы теперь работали в другом режиме. Темные громады внизу, острые, бес-

порядочно навороченные глыбы мрака — это была Кабилия, дикая и кровавая часть страны, да и вся эта страна еще недавно была кровавой и дикой, и сюда, в эту страну, сто лет назад плыли рабочие февраля сорок восьмого, погрузившись всем скопом на колесный пароход. «Он назывался «Лабрадор», — говорил доктор, — вы только представьте себе: плыть на «Лабрадоре» к жаре и москитам!» — однако «Лабрадор» исправно работал всеми своими лопастями, молотя ледяную воду, вздымавшуюся штормовыми волнами под натиском мистраля, пять дней и пять ночей по палубам гулял лютый ветер, завоеватели в трюмах маялись от морской болезни, блевали друг на друга и мечтали о смерти, пока не вошли в порт Бона, где все население высыпало на пристань встречать с музыкой позеленевших искателей приключений, покинувших столицу Европы вместе с женами, детьми и скарбом, чтобы после пятинедельных скитаний ступить на эту землю с голубоватыми далями, где они теперь с беспокойством принюхивались к ее странному запаху, улавливая в нем смесь навоза, пряностей и []120.

---

[120] Примечания: 120

[1] Неразборчивое слово.

Жак поменял позу; он наполовину спал. Он видел отца, которого наяву не видел никогда и даже не знал, какого он был роста: отец стоял на Бонской пристани среди эмигрантов, а рядом работали лебедки, выгружая жалкие пожитки, уцелевшие во время путешествия, и в толпе вспыхивали скандалы из-за потерянных вещей. Решительный, суровый, неразговорчивый, он стоял среди них — но разве не по той же дороге двинулся он сорок лет назад от Бона до Сольферино под таким же осенним небом? Впрочем, у первых эмигрантов дороги не было, женщин и детей погрузили на обозные армейские повозки, мужчины шли пешком, напрямик, определяя направление на глаз, через болотистую равнину и колючие заросли, в сопровождении воющих кабильских собак, под враждебными взглядами арабов, державшихся поодаль, но не сводивших с них глаз на всем их пути, пока не добрались к концу дня до того самого места, что и впоследствии его отец, — до этой плоской, окруженной далекими холмами долины без всяких признаков жилья, без единого клочка возделанной земли, где стояла лишь горстка солдатских палаток землистого цвета и ничего вокруг, кроме голого безлюдного пространства, показавшегося им

краем света, между пустынным небом и опасной[121] землей, и женщины расплакались в темноте от страха, усталости и разочарования.

Такой же ночной приезд в убогую неприютную дыру, такие же люди вокруг, а потом, потом… О! Про отца Жак толком ничего не знал, но тем переселенцам выбирать не приходилось: нужно было встряхнуться, чтобы не ударить в грязь лицом перед гогочущими солдатами, и устраиваться в палатках. Дома будут потом, со временем они построят их и распределят землю; труд, благословенный труд, спасет все.

«Но до этого было еще далеко…» — сказал Вейяр. Зарядил дождь, настоящий алжирский ливень, сплошной, сокрушительный, нескончаемый, он лил целую неделю, и Сейбуз вышел из берегов. Болота подступили к палаткам, люди не могли шагу ступить наружу — братья-враги, запертые в грязной тесноте огромных палаток, по которым безостановочно стучал дождь. Чтобы спастись от вони, они нарезали полого тростника и через него мочились на улицу, а как только дождь прекратился — сразу же за работу, строить под руководством плотника временные бараки.

---

[121] Примечания: 121

* неведомой.

«Ах, бедолаги, — смеясь, рассказывал Вейяр. — Они достроили бараки к весне и в награду получили холеру. Если верить моему старику, то прадед-плотник потерял из-за холеры дочь и жену, которые не зря опасались пускаться в такую даль». — «Да-да, — расхаживая по комнате, говорил доктор, все такой же гордый и стройный в своих вечных гетрах и все так же не умевший сидеть на месте. — Они умирали десятками каждый день. Жара началась раньше времени, в бараках нечем было дышать. А уж гигиена, сами понимаете! Короче, умирало не меньше десяти человек в день». Его коллеги, военные врачи, сбивались с ног. Любопытные, между прочим, люди. Они исчерпали все запасы лекарств. И тогда у них возникла идея. Надо плясать, чтобы разогреть кровь. И каждую ночь, после работы, колонисты плясали под скрипку в перерывах между похоронами. И что же, расчет оказался не так уж плох. Танцуя в такую жару, эти удальцы потели сверх всякой меры, и эпидемия прекратилась. «Их идею стоит изучить как следует»: Да, идея была блестящая. Жаркими влажными ночами, между бараков, где лежали больные, на ящике сидел скрипач, над ним висел фонарь, облепленный москитами и мошками, завоеватели в суконных костюмах и

длинных платьях плясали, обливаясь потом, вокруг огромного костра, а тем временем часовые с четырех сторон охраняли лагерь от черногривых львов, от угонщиков скота, от арабских банд, а иногда и от набегов соседей-французов из других поселений, нуждавшихся в развлечениях или провизии. Спустя некоторое время раздали наконец землю — разрозненные участки довольно далеко от бараков. Потом построили и деревню с земляными укреплениями. Но две трети переселенцев — не только здесь, но и по всему Алжиру — умерли, так и не взяв в руки ни кирки, ни плуга. Те, кто выжил, остались парижанами и в полях: они пахали в шапокляках, с ружьем за спиной и трубкой в зубах — допускалась только трубка с крышкой, сигареты были запрещены из-за пожаров, — и с хинином в кармане, хинин продавался во всех кафе Бона и в столовой Мондови, как вино или виски, — будьте здоровы! — а рядом с ними работали жены в шелковых платьях. Но без оружия и солдат нельзя было отойти ни на шаг, даже стирать белье в Сейбузе женщины ходили под военной охраной — те самые женщины, для которых некогда стирка на улице Архивов заменяла светскую гостиную; случались и ночные нападения на деревню, как в пятьдесят первом,

когда во время одного из восстаний несколько сот всадников в бурнусах, покружив вокруг укреплений, в конце концов обратились в бегство при виде направленных на них печных труб — осажденные выставили их, изображая пушки, — так они и работали, сея и строя в неприятельской стране, которая сопротивлялась завоеванию и вымещала свою ненависть на чем могла, но почему вдруг Жак подумал о матери, пока самолет то терял, то вновь набирал высоту? Он вспомнил про ту увязшую телегу на Бонской дороге, где колонисты оставили беременную женщину и ушли за подмогой, а когда вернулись, нашли женщину со вспоротым животом и отрезанными грудями. «Шла война», — сказал Вейяр. — «Будем справедливы, — добавил доктор, — их замуровывали в пещеры вместе со всей родней, да, да, а они когда-то выпускали кишки древним берберам, которые тоже… В общем, так мы дойдем до первого убийцы, его, знаете ли, звали Каин, и с тех пор война не прекращается. Люди ужасны, особенно под этим жестоким солнцем».

После обеда они прошли через деревню. Она была похожа на множество других таких же по всей стране — две-три сотни маленьких домиков в городском стиле конца прошлого века распреде-

лялись вдоль нескольких улиц, пересекавшихся под прямым углом, попадались и большие здания, такие, как кооператив, сельскохозяйственная касса и зал для праздничных мероприятий, а в центре возвышалась музыкальная эстрада с металлической арматурой, похожая на манеж или на гигантский вход в метро, где из года в год муниципальный хор или военный духовой оркестр давали по праздникам концерты, а вокруг в пыли и жарище прогуливались принаряженные пары, грызя земляные орехи. Сейчас тоже было воскресенье, но военная служба пропаганды установила на эстраде репродукторы, и публика, состоявшая в основном из арабов, не прохаживалась вокруг эстрады, а стояла неподвижно и слушала арабскую музыку вперемежку с речами; затерянные в толпе французы были все чем-то похожи друг на друга, у всех были мрачные лица, на которых читалась озабоченность будущим, как у тех, кто прибыл на «Лабрадоре» — в Сольферино или другие края Алжира, где их всех ждало одно и то же, все они прошли через одинаковые муки, все бежали от нищеты или от преследований навстречу камням и страданию. Среди них и испанцы с Маона (и в их числе родители его бабушки), и те эльзасцы, что в семьдесят первом не

приняли немецкой оккупации и сделали выбор в пользу Франции — им отдали землю участников алжирского восстания 1871 года, убитых или арестованных, и бунтари заняли еще теплое место мятежников. От этих гонимых гонителей происходил и его отец, он приехал сюда сорок лет назад такой же мрачный и упрямый, так же весь устремленный в будущее, как все те, кто не любит своего прошлого и перечеркивает его, он был таким же эмигрантом, как все, кто жил до него и продолжал жить рядом с ним на этой земле, не оставляя по себе никаких следов, кроме обветшалых, позеленевших плит на маленьких кладбищах, подобных тому, которое Жак посетил со старым доктором после ухода Вейяра. По одну сторону там располагались уродливые современные сооружения — дань последней похоронной моде, черпающей свои красоты на блошиных рынках и лотках с побрякушками, в которых тонет современное благочестие. По другую, под старыми кипарисами, в аллеях, усыпанных сосновой хвоей и кипарисовыми шишками, или возле сырых стен, среди желтых цветов кислицы, лежали старые плиты, уже почти вросшие в землю, со стершимися именами.

За прошедшее столетие сюда приехали несмет-

ные толпы людей, они пахали, прокладывали борозды, местами все более и более глубокие, а где-то постепенно исчезавшие под наносами, пока не изглаживались совсем, и тогда землю вновь захватывала дикая растительность, — эти люди оставляли потомство и исчезали. То же происходило и с их сыновьями. Их дети и внуки оказались в этой стране, как и он сам, без прошлого, без морали, без наставников, без религии, но счастливые оттого, что они такие, какие есть, и живут в этом царстве света, трепеща перед тьмой и смертью. Все эти поколения, все эти люди из разных краев, соединенные под великолепным африканским небом, в котором уже наметились сумерки, исчезли без следа, не открыв себя никому. Их окутало великое забвение, его источала сама эта земля, оно опускалось с небес вместе с темнотой над возвращавшимися в деревню тремя путниками, подавленными приближением ночи: грудь им сжимала тревога,[122] какую извечно вселяют в жителей Африки короткие сумерки, когда ночь стремительно опускается на море, на вздыбленные горы и высокие плато, — та же священная тревога, что некогда в

[122] Примечания: 122

* страх.

Дельфах заставляла людей воздвигать храмы и алтари. Но в Африке уже давно нет храмов, есть лишь эта нестерпимая и сладостная тяжесть на сердце. Как они умирали! Как продолжают умирать! Молча, отвернувшись от всего, как умер его отец, вовлеченный в непонятную трагедию вдали от земли, где он родился, прожив жизнь, подневольную от начала до конца, от приюта до неизбежной женитьбы и госпиталя, жизнь, которая складывалась помимо него, пока война не убила и не погребла этого человека, навсегда оставшегося незнакомцем для своих близких и сына и ушедшего в великое забвение — последнее отечество людей его породы, где оканчивается жизнь, начатая без корней, — сколько же в библиотеках той поры было списков с именами найденных при колонизации детей, да, все здесь были найденышами и подкидышами, возводившими временные постройки, чтобы потом умереть навеки для себя и для других. Как будто человеческая история, прошедшая почти без следов по одной из самых древних своих земель, испарялась здесь от зноя вместе с памятью о тех, кто, в сущности, ее делал, сведенная к вспышкам насилия и убийств, к порывам ненависти и потокам крови, мгновенно выходящим из берегов

и быстро высыхающим, в точности как местные вади. Тьма поднималась теперь от самой земли и постепенно заволакивала все вокруг, и живых, и мертвых, под прекрасным и вечным небом. Нет, он никогда по-настоящему не узнает своего отца — тот так и будет спать где-то далеко, с истлевшим, навеки утраченным лицом. В этом человеке была тайна, и он, Жак, хотел ее разгадать. Но, на самом деле, это была просто тайна нищеты, порождающей людей без имени и без прошлого, которые создали этот мир, а сами исчезли навсегда, пополнив несметную безымянную толпу мертвецов. Вот что роднило его отца с пассажирами «Лабрадора». С маонцами из Сахеля, с эльзасцами с Высоких плато — обитателями этого огромного острова между песками и морем, который постепенно затопляло сейчас великое безмолвие, — их всех роднила безымянность, роднила на уровне крови, труда, стойкости, инстинкта — жестокого и в то же время побуждающего к состраданию. И сам он, пытавшийся вырваться из этой безымянной страны, из толпы, из своей безымянной семьи, всегда чувствовал, что внутри у него что-то упорно и неотступно требует безвестности и безымянности. Он тоже был из этого племени, он, который вслепую шагал в

темноте рядом с чуть запыхавшимся доктором, слушал отголоски музыки с площади, вспоминал суровые, непроницаемые лица арабов вокруг деревенских эстрад, смех и волевое лицо Вейяра и мысленно видел с нежностью и пронзающей сердце болью лицо матери, похожее во время взрыва на предсмертную маску, он, бредущий во тьме лет по земле забвения, где каждый человек оказывается первым, где и ему пришлось взрослеть без отца, и у него не было в жизни тех минут, когда отец призывает сына, дождавшись, когда он вырастет и будет в состоянии его выслушать, чтобы открыть ему семейную тайну, или давнее горе, или опыт собственной жизни, — минут, когда даже смешной и отвратительный Полоний вдруг обретает величие в разговоре с Лаэртом, а ему, Жаку, исполнилось сначала шестнадцать, потом двадцать, но никто не поговорил с ним, и он должен был все узнавать сам, вставать на ноги сам, сам набирать силу, уверенность, искать свою мораль и свою правду, родиться, наконец, как мужчина, чтобы потом пережить еще одно рождение, более трудное, — рождение для других, для женщин, так же, как все люди, появившиеся на свет в этой стране и поодиночке учившиеся жить без корней и без веры, должны

сегодня все вместе под угрозой окончательного торжества безымянности, утраты единственных священных следов их пребывания на земле — плит со стершимися именами, окутанных сейчас тьмой, — родиться для других, для несметной толпы вытесненных теперь колонистов, которые были их предшественниками на этой земле, и признать свое братство с ними — братство по крови и по судьбе.

Самолет уже снижался, приближаясь к столице. Жак думал о маленьком кладбище в Сен-Бриё, где солдатские могилы сохранились лучше, чем в Мондови[123]. Средиземное море было для меня границей между двумя мирами: в одном на строго отмеренных участках земли сохранялись имена и воспоминания, в другом — песчаный ветер заметал человеческие следы на огромных пространствах. Он пытался избежать безымянности, нищеты, упрямого невежества, не в силах был жить по законам этого слепого терпения, без слов, без планов на будущее, когда мысли не идут дальше сиюминутной нужды. Он колесил по свету, строил, создавал, дотла сжигал души, жизнь его была заполнена до предела. Но где-то в

[123] Примечания: 123

* Алжир.

глубине своего существа он теперь знал, что Сен-Бриё и все, что он воплощает, — для него чужое и всегда было чужим, и он думал о только что виденных замшелых могилах, внутренне соглашаясь, не без какой-то странной радости, чтобы смерть вернула его на подлинную родину и покрыла великим забвением память о чудовищном и [заурядном] человеке, который вырос и созрел без всякой помощи и поддержки, в бедности, на счастливых берегах, в сиянии первых рассветов вселенной, чтобы затем в одиночку, без памяти и без веры, вступить в мир людей своего времени и в его ужасную и захватывающую историю.

Часть вторая. Сын, или Первый человек

1. Лицей

[124] В тот год, первого октября, Жак Кормери[125], в крахмальной сорочке, скованный жестким ранцем из лакированной кожи и нетвердо держась на ногах, обутых в новые грубые башмаки, поднялся вместе с Пьером на переднюю площадку трамвая; увидев, что вожатый переводит рычаг на первую скорость и тяжелая машина уже отъезжает от остановки «Белькур», он оглянулся, высматривая мать и бабушку, которые все еще стояли у открытого окна на втором этаже, провожая его в это первое путешествие в неведомый лицей, но увидеть их не смог, потому что кто-то из пассажиров развернул перед его носом «Алжирские ведомости». Трамвай поглощал стальные рельсы, в прохладном утреннем воздухе дрожали электрические провода, Жак снова устремил взгляд вперед, и у него слегка защемило сердце, когда он повернулся спиной

---

[124] Примечания: 124

[a] Начать либо с отъезда в лицей и дальше продолжать по порядку, либо показать взрослого Жака (чудовище), а потом вернуться к отъезду в лицей и ко всему этому периоду — до болезни.

[125] Примечания: 125

[b] внешность мальчика.

к дому, к старому кварталу, которого никогда по-настоящему не покидал, разве что изредка и ненадолго (если они отправлялись в центр, это называлось «поехать в Алжир»), и, несмотря на братское плечо стоявшего рядом Пьера, чувство тревожного одиночества наполнило ему душу, а трамвай неуклонно набирал скорость, унося его навстречу неизвестному миру, где он не знал, как себя вести.

Посоветоваться было не с кем. Пьер и Жак очень быстро поняли, что остались одни. Даже месье Бернар, которого они, впрочем, не осмеливались беспокоить, не мог бы рассказать им о лицее, так как ничего не знал о нем сам. Их домашние и подавно. Для семьи Жака, к примеру, слово «латынь» не означало ровно ничего. О том, что на свете были времена (за исключением эры первобытной дикости, вполне доступной их воображению), когда люди не говорили по-французски, что существовали целые цивилизации (это слово тоже не имело для них никакого смысла), где язык и обычаи не имели ничего общего с теперешними, они просто никогда не слыхали. Ни картинки, ни тексты, ни чьи-то рассказы, ни поверхностная культура, которую можно почерпнуть из самого банального разговора, не

проникали в их мир. В этом доме, где не было ни газет, ни книг, пока их не начал приносить Жак, ни даже радио, и вообще ничего, кроме вещей первой необходимости, куда приходили только родственники и откуда обитатели уходили редко и лишь затем, чтобы навестить все тех же невежественных родственников, всё, что Жак мог бы рассказать о лицее, было неуместно, и безмолвие ширилось между ним и его семьей. А в лицее он не мог говорить о своей семье: чувствуя ее необычность, он все равно не сумел бы облечь это в слова, даже если бы ему удалось побороть в себе непреодолимую застенчивость, мешавшую касаться этой темы.

И даже не в классовых различиях было дело. В стране иммиграции, стремительных обогащений и головокружительных банкротств границы между классами были гораздо менее ощутимы, чем расовые. Будь Жак и Пьер арабами, им пришлось бы испытать куда более горькие и болезненные чувства. В начальной школе у них были одноклассники-арабы, но в лицее арабы составляли исключение, и это всегда были сыновья богатых и важных людей. Нет, причина заключалась в другом — причем Жака это касалось в большей степени, чем Пьера, поскольку

семья Жака сильнее отличалась от прочих, — она заключалась в полной невозможности увязать свою домашнюю жизнь с общепринятыми понятиями. Во время опроса в начале учебного года он, разумеется, сказал, что отец его погиб на войне, это давало ему определенное социальное положение: он сын героя, находится на попечении государства, тут было все понятно. Но дальше начинались сложности. Им раздали бланки, где имелась графа «профессия родителей», и он долго думал, что же там писать. Сначала он написал «домашняя хозяйка», в то время как Пьер написал «почтовый работник». Но Пьер объяснил ему, что домашняя хозяйка — это не профессия, что так называют женщин, которые не работают и занимаются хозяйством у себя дома. «Нет, — сказал Жак, — она занимается хозяйством не у себя дома, а у других, например, у галантерейщика напротив». — «Значит, — нерешительно сказал Пьер, — надо писать «прислуга». Такая мысль не приходила Жаку в голову, поскольку это слово никогда не произносилось у них дома, к тому же никто из них не считал, что она работает для других, она работала прежде всего для своих детей. Жак начал писать это слово, остановился и вдруг

почувствовал вдруг[126], что ему стыдно и стыдно за свой стыд.

Ребенок сам по себе ничто, его представляют родители. Он осознаёт себя через них, по ним судят о нем другие. И ребенок чувствует, что приговор обжалованию не подлежит. Этот людской приговор и открыл для себя Жак, вынеся и собственный приговор — своему недостойному сердцу. Он не мог тогда знать, что став взрослым, человек с легкостью освобождается от этих дурных чувств. И что на самом деле о нас судят — плохо ли, хорошо ли — по тому, кто мы есть, а вовсе не по нашей семье, и бывает даже, что о семье впоследствии судят по сыну и по тому, кем он стал. Но надо было обладать поистине героическим сердцем, чтобы не страдать от подобного открытия, и в то же время немыслимым смирением, чтобы не испытывать стыда и гнева на самого себя за это страдание, открывавшее ему несовершенство собственной натуры. Жак не обладал ни тем, ни другим, зато обладал упрямой и злой гордыней, которая помогла ему, по крайней мере в этой ситуации, и заставила твердой рукой дописать слово «прислуга», после чего он

---

[126] Примечания: 126

[1] Sic.

с неприступным видом отнес бланк классному надзирателю, даже не обратившему на это внимания. Вместе с тем у Жака вовсе не возникало желания как-то изменить свое положение или иметь другую семью, он любил свою мать, такую, какая она есть, больше всего на свете, хотя эта любовь и была безнадежной. Но как объяснить, что ребенок из бедной семьи может мучиться от стыда, не испытывая при этом зависти?

В другой раз на вопрос, каково его вероисповедание, он ответил «католик». Учитель спросил, записать ли его на курс катехизиса, и он, вспомнив об опасениях бабушки, ответил «нет». «Ах, вот как, — сказал с иронией учитель, — значит, вы непрактикующий католик». Жак не мог рассказать, что происходит у него дома, или объяснить своеобразное отношение его близких к религии. Поэтому он твердо ответил «да», что было встречено смехом и принесло ему репутацию упрямого вольнодумца, причем в тот самый момент, когда он чувствовал себя совершенно растерянным.

Однажды учитель литературы раздал им инструкции, касавшиеся правил поведения в лицее, и велел принести на следующий день с подписью родителей. В инструкции перечислялись предме-

ты, которые запрещалось приносить с собой — от оружия до игральных карт и иллюстрированных журналов, — и составлена она была таким замысловатым языком, что Жаку пришлось дома передать ее содержание своими словами. Мать была единственной, кто мог кое-как поставить на инструкции свою подпись[127]. После гибели мужа она ходила раз в квартал получать пенсию военной вдовы, и власти в лице чиновников государственной казны — Катрин Кормери говорила просто «казна», для нее это слово было обычным, ничего не значащим названием, зато у детей возникал образ неисчерпаемой сказочной сокровищницы, откуда их матери изредка дозволено брать немного денег, — всякий раз требовали от нее подписи, и после первых неприятностей кто-то из соседей (?) сделал ей образец и научил срисовывать подпись «вдова Камю»[128], это получалось у нее не слишком хорошо, но чиновников устраивало. На следующее утро Жак обнаружил, что мать, которая задолго до того, как он проснулся, ушла мыть полы в каком-то магазине, забыла подписать инструкцию. Бабушка расписываться

---

[127] Примечания: 127

* Напоминать.

[128] Примечания: 128

1 Sic.

не умела. Она даже счета вела с помощью кружочков: пустой кружочек обозначал единицу, перечеркнутый одной чертой — десять, двумя — сто. Жаку пришлось вернуть инструкцию без подписи. Он сказал, что мать забыла расписаться, а на вопрос, неужели больше никто в доме не мог этого сделать, ответил «нет», и по изумленному виду учителя понял, что это случай менее ординарный, чем ему казалось.

Еще больше поражали его юные жители метрополии, попавшие в Алжир благодаря перипетиям отцовской карьеры. Самым удивительным из них был Жорж Дидье[129], с которым Жака сближала любовь к урокам французского и к чтению, так что в конце концов между ними завязалась нежная дружба, вызывавшая ревность Пьера. Дидье был сыном офицера-католика, ревностно соблюдавшего все обряды. Его мать «занималась музыкой», сестра (Жак никогда не видел ее, но с упоением о ней грезил) — вышиванием, а сам Дидье собирался стать священником. Он был необычайно умен и абсолютно непреклонен в вопросах веры и морали — тут его суждения были категоричны и безапелляционны. Никто

---

[129] Примечания: 129

[a] рассказать потом о встрече перед его смертью.

никогда не слышал, чтобы он выругался или упомянул, как это охотно делали другие мальчишки, о естественных отправлениях организма или взаимоотношениях полов, о коих, впрочем, они имели куда более туманное представление, чем хотели показать. Первое, чего он попробовал добиться от Жака, когда их дружба окрепла, это чтобы тот отказался от бранных слов. Жаку ничего не стоило обходиться без них в его присутствии. Но с другими он легко возвращался к привычной мальчишеской грубости. (Уже в те годы начала вырисовываться его многоликая натура, которая впоследствии оказалась для него столь удобной, ибо позволяла говорить с каждым на его языке, приспосабливаться к любой среде и играть все роли, кроме…) Именно благодаря Дидье Жак узнал, что такое средняя французская семья. У Дидье во Франции был дом, издавна принадлежавший его семье, он уезжал туда на каникулы и без конца рассказывал или писал о нем Жаку. Там был чердак, заваленный старыми чемоданами, где хранились письма, семейные реликвии, фотографии. Он знал историю своих дедушек и бабушек, и прадедушек и прабабушек, и какого-то далекого предка-моряка, участника Трафальгарской битвы, и из всей этой длин-

ной, живой для него истории семьи он черпал примеры и принципы повседневного поведения: «Дедушка говорил… папа считает…» — и основывал на этом свой ригоризм, свою высокомерную чистоту. Говоря о Франции, он называл ее «наше Отечество» и был заранее готов ради нее на любые жертвы («твой отец погиб за Отечество», — говорил он Жаку), в то время как для Жака понятие отечества было лишено всякого смысла: он знал, что он француз и что это накладывает на него определенные обязательства, но Франция была для него чем-то абстрактным и далеким, хотя все они считались ее детьми и она иногда призывала их, но примерно так же, как этот Бог, о котором он слышал только от чужих людей и который, судя по всему, имел власть распределять все блага и несчастья, причем повлиять на него не было никакой возможности, хотя сам он всецело распоряжался людскими судьбами. Такое отношение к Франции Жак усвоил от воспитавших его женщин. «Мама, что такое отечество?[130]» — спросил он однажды. Лицо ее приняло испуганное выражение, как всегда, когда она чего-то не понимала. «Не знаю», — ска-

---

[130] Примечания: 130

[a] открытие родины в 1940 году.

зала она. «Это Франция». — «Ах, да!» И она явно испытала облегчение. А Дидье знал, что это такое, в его сознании ощутимо присутствовала семья с ее далекими предками и через историю семьи — страна, где он родился, и история этой страны, он называл Жанну д'Арк просто Жанной, и добро и зло тоже были для него четко определены, как и его собственная судьба в настоящем и в будущем. Жак да и Пьер — хотя и в меньшей степени — чувствовали себя другими, у них не было прошлого, не было ни старого семейного дома, ни чердака с письмами и фотографиями, они теоретически числили себя гражданами загадочной страны, где крыши покрыты снегом, притом что сами росли под неистовым жгучим солнцем, с примитивной моралью, которая запрещала, к примеру, воровать и предписывала защищать мать, но не давала ответа на множество вопросов, касающихся женщин, отношений со старшими… (и т. д.), это были дети, не ведавшие Бога и неведомые ему, не способные представить себе потустороннюю жизнь, настолько неисчерпаемой казалась им жизнь земная, подчиненная равнодушным божествам солнца, моря и нищеты. Конечно, Жака привлекало в Дидье прежде всего его благородное, жаждущее подвига сердце, глубоко

цельное в своей страсти к самоотверженному служению (впервые Жак услышал слово «служение», которое сотни раз встречал в книгах, из уст Дидье) и способное на проникновенную нежность, но, главное, он обладал в глазах Жака неким обаянием экзотики, что прельщало его еще сильнее, точно так же, как потом, став взрослым, Жак чувствовал непреодолимое влечение к женщинам-иностранкам. Дитя традиций, семьи и религии, Дидье был наделен для Жака притягательностью обветренных авантюристов, которые возвращаются из тропиков, храня в себе странную и непостижимую тайну.

Но кабильский пастух на лысой, выжженной солнцем горе может хоть целый день смотреть на пролетающих журавлей и грезить о Севере — вечером он все равно возвращается к тарелке мастиковых фисташек, к своему семейству в длинных балахонах и к бедной хижине. Так же и Жак, как бы ни пьянили его волшебные напитки буржуазных традиций (?), оставался сильнее всего привязан к тому, кто был на него похож, — к Пьеру. Каждое утро в четверть седьмого (кроме четвергов и воскресений), Жак, прыгая через ступеньку, спускался по лестнице, выбегал на влажную теплую улицу или под проливной зим-

ний дождь, от которого его пелерина набухала, как губка, сворачивал у фонтана на улицу, где жил Пьер, и все так же бегом взлетев на третий этаж, тихонько стучал в дверь. Мать Пьера, красивая женщина с пышными формами, открывала ему, и он оказывался в бедно обставленной столовой. В глубине этой столовой были две двери. Одна вела в комнату Пьера, где он жил вместе с матерью, другая — в комнату двоих его дядьев, грубоватых железнодорожников, улыбчивых и молчаливых. Справа от входа в столовую находилась клетушка без света и воздуха, служившая кухней и туалетной комнатой. Пьер вечно опаздывал. Он сидел за покрытым клеенкой столом, под зажженной керосиновой лампой, если дело происходило зимой, с темной глазурованной пиалой в руках, и, пытаясь не обжечься, пил кофе на горячем молоке, поданный ему матерью. «Подуй», — говорила она. Он дул, потом шумно втягивал каждый глоток, а Жак смотрел на него, переминаясь с ноги на ногу[131]. Допив кофе, Пьер должен был еще пойти на кухню, освещенную свечкой, где его ждал на цинковой раковине стакан воды и на нем зубная щетка с толстым

[131] Примечания: 131

[a] лицейская фуражка.

слоем специальной пасты: Пьер страдал пиореей. Он надевал пелерину, ранец, фуражку и во всем снаряжении долго и яростно чистил зубы, шумно сплевывая в раковину. Медицинский запах пасты смешивался с запахом кофе и молока. Жака слегка мутило, к тому же он нервничал, давал это понять, и в результате между ними нередко вспыхивали перепалки, лишь укреплявшие дружбу. Повздорив, мальчики молча выходили на улицу и, не улыбаясь, шли к трамвайной остановке. Но чаще всего они со смехом гнались друг за другом или на бегу передавали друг другу один из ранцев, как мяч во время игры в регби. На остановке они дожидались красного трамвая, гадая, с кем из двоих или троих вожатых поедут на этот раз.

Потому что они презирали прицепы, садились только в первый вагон и пробирались к передней площадке, что требовало упорства, ибо трамвай был битком набит людьми, ехавшими на работу в центр, а ранцы мешали протискиваться в толпе. На каждой остановке, пользуясь тем, что кто-то выходит, они продвигались все ближе и ближе к застекленной перегородке, откуда была хорошо видна узкая и высокая коробка передач. Ее венчал большой рычаг с деревянной рукояткой: вожатый передвигал его по кругу, разграниченному

пятью выступами — они соответствовали каждой из трех скоростей, нейтральному положению и задней передаче. Вожатые, орудовавшие этим рычагом, были в глазах мальчиков чем-то вроде полубогов, с которыми, как гласила специальная табличка, даже запрещалось разговаривать. Они носили форму, почти военную, и фуражку с твердым блестящим козырьком, а вожатые-арабы вместо нее надевали феску. Дети знали их всех в лицо. Среди них был «красавчик» с лицом героя-любовника и хрупкими плечами; «бурый медведь» — огромный силач-араб с мясистым лицом и неподвижным взглядом, всегда устремленным вперед; «друг животных» — старый светлоглазый итальянец с землистым лицом, сгибавшийся над рычагом в три погибели и заслуживший свое прозвище тем, что однажды остановил трамвай, чтобы не раздавить зазевавшуюся собаку, а в другой раз таким же образом спас собаку, которая без стеснения делала свои дела прямо на рельсах; и, наконец, «Зорро», туповатый увалень, напоминавший лицом и усиками Дугласа Фэрбенкса[132]. «Друг животных» очень нравился детям. Но предметом их подлинного

[132] Примечания: 132

[a] шнурок и звонок.

восхищения был «бурый медведь»: он сидел прямо, упершись в пол огромными ножищами, и невозмутимо вел грохочущую машину на полной скорости. Левой рукой он крепко сжимал деревянную рукоятку рычага и, как только ситуация на улице позволяла, передвигал его на третью скорость, а правую бдительно держал на большом тормозном колесе, готовый в любую минуту повернуть его на несколько оборотов и одновременно отвести рычаг в нейтральное положение — тогда вагон тяжело буксовал и останавливался. Именно у него на поворотах и на стрелках чаще всего соскальзывала с проводов длинная штанга, закрепленная на крыше большой пружиной, а на проводах — роликом: когда ролик соскакивал, пружина на крыше распрямлялась, штанга срывалась с загудевших проводов и вставала вертикально под дождем искр. Кондуктор выпрыгивал из трамвая, подхватывал длинную веревку, зацепленную за верхушку штанги, — другой ее конец крепился в железной коробке позади моторного вагона на автоматической катушке — и тянул за нее изо всех сил, преодолевая сопротивление металлической пружины. Оттянув штангу назад, кондуктор медленно поднимал ее, стараясь поймать роликом провод и высекая

снопы искр. Высунувшись наружу или, если была зима, прильнув к окнам, дети следили за его маневрами, и, если они увенчивались успехом, поднимали радостный крик, но как бы ни к кому не обращаясь, чтобы оповестить водителя и не нарушить при этом правило, запрещавшее с ним разговаривать. Но «бурый медведь» оставался невозмутимым; он ждал, как полагается по инструкции, чтобы кондуктор подал ему сигнал к отправлению, дернув за шнурок, висевший на задней площадке: тогда на передней звякал звоночек, и вожатый пускал трамвай полным ходом, ни о чем больше не беспокоясь. Снова прильнув к кабине, дети смотрели, как под дождем или в солнечных лучах убегают назад рельсы и провода, и радовались, если трамвай обгонял какую-нибудь телегу или минуту-другую состязался в скорости с надсадно кашляющим автомобилем. На каждой остановке трамвай выгружал часть рабочих — французов и арабов — и принимал пассажиров, одетых все лучше и лучше по мере приближения к центру. Так он постепенно объезжал по дуге весь город, а потом внезапно выныривал к порту и бесконечному простору залива, расстилавшегося до высоких синеватых гор у самого горизонта. Еще три остановки, и

— конечная, Губернаторская площадь, где дети и выходили. С трех сторон площадь окружали деревья и дома с аркадами, с четвертой, за белой мечетью, открывался порт. В центре высилась конная статуя герцога Орлеанского, покрытая патиной и в ясные дни изумрудно-зеленая. В дождь, однако, мокрая бронза делалась совершенно черной (приезжим кто-нибудь непременно рассказывал, как скульптор, обнаружив, что забыл изобразить цепочку удил, покончил с собой), и нескончаемая струя воды текла с хвоста лошади в маленький, обнесенный оградой цветник вокруг памятника. Площадь была вымощена мелкой блестящей брусчаткой, и дети, выпрыгнув из трамвая, скользили по ней, как по ледяной дорожке, в сторону улицы Баб-Азун, по которой за пять минут добегали до лицея.

Улица Баб-Азун была узкой, а тянувшиеся по обе стороны аркады с огромными квадратными колоннами делали ее еще уже, так что на проезжей части едва хватало места для трамвайной линии, ведущей в верхние кварталы и принадлежащей другой компании. В жаркие дни ярко-синее небо нависало над домами как раскаленная крышка, но в тени под аркадами было прохладно. Когда же шел дождь, вся улица

превращалась в блестящую от влаги, глубокую каменную траншею. Под аркадами сменяли друг друга торговые лавки: оптовые магазины тканей с выкрашенными в темные тона фасадами, где поблескивали в витринах рулоны яркой материи, бакалеи, от которых шел запах гвоздики и кофе, маленькие ларьки с арабскими сладостями, истекавшими маслом и медом, сумрачные кафе, где в этот час запускали кофеварочные аппараты (по вечерам здесь было светло и шумно, слышался гул мужских голосов, посетители ходили по рассыпанным на полу опилкам и теснились у стойки, где в бокалах мерцали напитки и стояли блюдца с орешками, анчоусами, мелко нарезанным сельдереем, оливками, хрустящей картошкой и арахисом), и, наконец, базарчики для туристов, где продавали отвратительные восточные побрякушки, разложенные под стеклом на лотках, а по обе стороны от них стояли вертушки с открытками и яркими мавританскими платками.

Хозяином одного из таких базарчиков был некий толстяк, восседавший за своими лотками день-деньской, в тени или при электрическом свете, рыхлый, мучнисто-белый, с глазами навыкате, похожий на тех насекомых, каких можно

встретить под камнем или под поваленным деревом, и главное, совершенно лысый. Лицеисты прозвали его «Каток для мух» или «Велодром для москитов», утверждая, что, когда мухи или москиты пытаются дать круг по поверхности его лысины, их заносит на виражах. Вечерами ребята налетали к нему под аркады, как стайка скворцов, и, проносясь мимо, выкрикивали его клички и жужжали, изображая мух. Толстяк бранился, раз или два он даже самонадеянно попытался их догнать, но ничего не вышло. В один прекрасный день он вдруг присмирел, перестал реагировать на их выкрики и насмешки, они расхрабрились и начали орать чуть ли не у него под носом. И вдруг, через день-другой, откуда ни возьмись появились молодые арабы, которых он специально для этого нанял, и, выскочив неожиданно из-за колонн, бросились в погоню за мальчишками. Только благодаря своим исключительно быстрым ногам Жак и Пьер избежали в тот вечер возмездия. Жак, правда, успел получить сзади удар по уху, но, тут же оправившись от шока, ускорил бег и оторвался от преследователей. Зато двоим или троим из их компании досталось как следует. После этого ребята некоторое время замышляли ограбить лавку и убить владельца, но

так и не осуществили свою страшную месть. Они перестали дразнить несчастного и благоразумно обходили лавку по другой стороне улицы. «Струсили», — с горечью говорил Жак. «Но ведь по совести говоря, — возражал Пьер, — мы не имели права так себя вести». — «Да, но еще и боимся, что нас поколотят». Жак потом не раз вспоминал эту историю, когда понял (по-настоящему), что люди лишь делают вид, будто уважают закон, а на самом деле подчиняются только силе[133].

Ближе к середине улица Баб-Азун делалась шире и аркады с одной стороны уступали место церкви Сент-Виктуар. Эта маленькая церковь сменила когда-то стоявшую здесь мечеть. На ее побеленном фасаде была ниша (?), где всегда лежали цветы. На широком тротуаре располагались цветочные лавки: в этот ранний час они уже были открыты, и дети, проходя мимо, любовались огромными охапками ирисов, гвоздик, роз или анемонов в высоких консервных банках, проржавевших сверху от воды, которой то и дело обрызгивали цветы. На той же стороне улицы находилась и маленькая лавочка, торговавшая арабскими блинчиками, точнее, это был просто

---

[133] Примечания: 133

[a] и он в том числе.

закуток, где с трудом помещались три человека. В одной из стен был устроен очаг, выложенный по краям белыми и голубыми плитками: там, в огромном медном тазу, журчало кипящее масло. Перед очагом сидел, по-турецки поджав под себя ноги, странный персонаж в арабских шароварах, с обнаженным торсом, а в холодные дни — в европейском пиджаке с застегнутыми на английскую булавку лацканами, напоминавший своей бритой головой, худым лицом и беззубым ртом Ганди без очков. Держа в руке широкую красную шумовку, он следил за блинчиками, которые поджаривались в масле. Когда блин был готов, то есть зарумянивался по краям, а нежное, тонкое тесто в середине становилось прозрачным и хрустящим (как ломтик хрустящей картошки), он осторожно подсовывал под блин шумовку и проворно вытаскивал его, потом несколько раз встряхивал шумовку над газом, чтобы масло стекло обратно, и клал блин на стоящий перед ним прилавок, где за стеклом, на нескольких полочках с прорезями, уже лежали в ряд свернутые в трубочку блины с медом, а чуть в стороне — плоские и круглые блины с маслом[134]. Пьер и Жак с ума сходили

[134] Примечания: 134

[a] Злабия, макруд.

по этим блинчикам, и если у одного из них вдруг чудом оказывались деньги, то, как бы они ни спешили, они останавливались у лавки, и каждый получал блин с маслом в прозрачной от жира бумаге или трубочку, которую торговец, прежде чем им вручить, окунал в стоявший возле очага горшок, полный темного меда, усыпанного блинными крошками. Дети принимали эту роскошь и на бегу начинали есть, наклоняясь вперед, чтобы не перепачкать одежду.

Каждую осень, почти сразу после начала занятий, здесь, у церкви, собирались перед отлетом на юг ласточки. Над верхней частью улицы, там, где она начинала расширяться, была натянута целая сеть электрических проводов и даже кабелей высокого напряжения — некогда они служили для трамвайных маневров, а потом их так и не убрали. С первыми холодами — не слишком сильными, поскольку морозов здесь не бывало никогда, и все же весьма ощутимыми после долгих месяцев гнетущей жары, — ласточки[135], которые обычно летали над приморскими бульварами, над площадью перед лицеем или в небе бедных кварталов, пикируя с пронзительными криками

[135] Примечания: 135

[a] См. про алжирских воробьев у Гренье.

на какую-нибудь упавшую смокву, выброшенные морем нечистоты или свежий навоз, начинали появляться поодиночке в узком коридоре улицы Баб-Азун. Они летели низко, навстречу трамваям, а потом резко взмывали вверх и исчезали в небе над домами. И вдруг, в одно прекрасное утро, все провода и крыши над маленькой площадью перед церковью оказывались заняты ласточками. Их там были целые сотни, они сидели, прижавшись друг к другу, покачивали головами над траурными грудками и, тряся хвостом, передвигали лапки, чтобы потесниться и дать место вновь прибывшим; весь тротуар под ними был покрыт мелким пепельно-серым пометом, а их крики сливались в сплошное глуховатое верещание, из которого иногда вырывались отдельные пронзительные звуки. Это непрерывное совещание начиналось с утра и продолжалось весь день, галдеж делался все громче и громче, становясь к вечеру, когда дети выходили из лицея, почти оглушительным, и вдруг, словно повинуясь таинственному приказу, разом прекращался, сотни маленьких головок и черно-белых хвостов опускались, и птицы засыпали. В течение еще двух или трех дней продолжали появляться новые стайки, слетаясь из всех уголков Сахеля, а иногда

и из более далеких краев. Они искали, где разместиться, и постепенно занимали все карнизы по обе стороны от главного центра сборища, так что хлопанье крыльев и непрерывный щебет наполняли оглушительным гамом всю улицу. А потом наступал день, когда улица вдруг оказывалась пуста. Ночью, перед рассветом, птицы все вместе снимались и улетали на юг. С этого дня для детей начиналась зима, гораздо раньше, чем полагалось по календарю, потому что они не представляли себе лета без пронзительных криков ласточек в теплом предвечернем небе.

Улица Баб-Азун выходила другим концом на широкую площадь, где напротив друг друга высились лицей и казарма. Дальше начиналась арабская часть города: крутые влажные улочки уже карабкались здесь по склону холма, и лицей стоял как бы отвернувшись от них. Казарма смотрела в сторону, противоположную морю. За лицеем лежал парк Маренго, за казармой — бедный квартал Баб-эль-Уэд, наполовину заселенный испанцами. За несколько минут до четверти восьмого Жак и Пьер, взбежав по внешним лестницам, входили вместе с толпой детей в маленькую охраняемую привратником дверь рядом с монументальным порталом. Войдя, они

поднимались по парадной лестнице, по обе стороны которой висели доски почета, и оказывались на площадке с колоннами, откуда начинались лестницы, ведущие на другие этажи, и застекленная галерея, выходившая в большой внутренний двор. Здесь за одной из колонн обычно прятался Носорог, подстерегая опоздавших. (Носорогом прозвали старшего надзирателя, маленького жилистого корсиканца, за его закрученные кверху усы.) Начиналась другая жизнь.

Пьер и Жак, благодаря своему «семейному положению», числились полупансионерами. То есть проводили в лицее целый день и питались в лицейской столовой. Занятия начинались когда в восемь, когда в девять, а завтрак подавался пансионерам в семь пятнадцать, и полупансионеры тоже имели на него право. Родным обоих мальчиков не приходило в голову, что можно не воспользоваться каким-то правом, притом что их было у них так мало. Поэтому Жак и Пьер были в числе тех немногих полупансионеров, которые являлись к семи пятнадцати в круглую белую столовую, где заспанные пансионеры уже сидели за длинными оцинкованными столами. Перед ними стояли огромные чашки и гигантские корзины с толстыми ломтями черствого

хлеба, а официанты, в большинстве своем арабы, в длинных фартуках из грубого полотна, сновали между столами и разливали из больших, некогда блестящих кофейников с изогнутыми носиками горячую жидкость, где было больше цикория, чем кофе. Осуществив свое право на утренний завтрак, дети отправлялись в комнату для самостоятельных занятий и повторяли там домашнее задание под присмотром младшего надзирателя, жившего при лицее.

Лицей отличался от начальной школы главным образом тем, что там учитель был один, а здесь много. Месье Бернар знал все и учил их всему одними и теми же методами. В лицее учителя менялись в зависимости от предмета, и каждый преподавал по-своему[136]. Появлялась возможность сравнивать, ученики могли выбирать, кого им любить, а кого нет. Учитель начальной школы — это почти отец: он большую часть дня занимает его место. От него никуда не денешься и без него нельзя обойтись. Тут не встает вопрос, любить его или нет. Чаще всего дети его любят, потому что полностью от него зависят. Но если случается так, что ребенок учителя не любит или

[136] Примечания: 136

[a] Месье Бернара любили и восхищались им. В лицее учителями можно было в лучшем случае восхищаться, любить их не хватало смелости.

любит не очень, то зависимость и неизбежность все равно остаются, а от них не так далеко до любви. В лицее же учителя скорее напоминали дядюшек, между которыми можно выбирать. В частности, их не обязательно было любить, и у них был один преподаватель физики, невероятно элегантный, но деспотичный и несдержанный, и ни Жак, ни Пьер так и не научились «глотать» его грубости, хотя за время обучения в лицее их класс попадал к нему два или три раза. Больше всего шансов снискать любовь было у преподавателей литературы, потому что дети видели их чаще, чем других, и Жак с Пьером действительно привязывались к ним[137] почти во всех классах, не имея, однако, возможности ни на одного из них опереться, потому что учитель ничего о них не знал и после занятий возвращался к своей собственной, неведомой для них жизни, так же как и они возвращались на свою далекую окраину, где ни при каких обстоятельствах их соседом не мог оказаться лицейский преподаватель, и они никогда не встречали ни однокашников, ни учителей на своем маршруте трамвая. На их линии трамваи были красные («Товарищества уличных

[137] Примечания: 137

[b] назвать их? развить?

железных дорог города Алжира»), они обслуживали только нижние кварталы, а в верхние, более богатые, ходили зеленые трамваи («Трамваи Алжира»). Зеленые к тому же подходили прямо к лицею, а красные делали круг на Губернаторской площади. Поэтому в конце дня дети вспоминали о своем отличии от остальных прямо у дверей лицея или чуть подальше, на площади, где, простившись с веселой компанией одноклассников, они сворачивали к остановке красных трамваев, шедших в самые бедные кварталы. Они чувствовали свое отличие, а не ущербность. Они были из другого района, вот и все.

Зато в самом лицее эти различия исчезали. Блузы могли быть более щегольскими или менее, но, в сущности, они мало чем отличались друг от друга. Все соперничество сводилось к сообразительности на занятиях и ловкости во время игр. И тут Жак и Пьер были далеко не последними. Благодаря прекрасной подготовке в начальной школе, они сразу же оказались в числе первых. Безупречная орфография, сноровка в счете, тренированная память и, главное, привитое им уважение [][138] ко всем видам знания стали — во

[138] Примечания: 138

[1] Неразборчивое слово.

всяком случае, на первых порах — их главными козырями. Если бы Жак не был таким непоседой, что постоянно мешало ему попасть на доску почета, а Пьеру лучше давалась латынь, то их триумф был бы полным. Они пользовались уважением, их хвалили учителя. Что же касается игр, то это был в основном футбол, которому суждено было стать страстью Жака на долгие годы. В футбол играли на перемене после второго завтрака и на самой большой, последней, в три часа, когда оставались только те, кто готовил домашние задания в лицее. Во время этой часовой перемены дети полдничали в лицейской столовой и отдыхали перед началом самостоятельных занятий[139]. Жак о полднике и не вспоминал. С такими же, как он, фанатиками футбола он мчался в покрытый цементом двор, окруженный со всех четырех сторон аркадами на толстых колоннах, где, чинно беседуя, прогуливались тихони и зубрилы. Там же стояли пять или шесть зеленых скамеек и росли за железными решетками огромные фикусы. Площадка делилась между командами пополам, вратари с двух сторон занимали свои места между колоннами, а в центр ставился

[139] Примечания: 139

[a] во дворе было меньше народу после ухода экстернов.

большой резиновый мяч. Судей не было, и после первого же удара начинались крики и беготня. Здесь, на футбольном поле, Жак, общавшийся в классе на равных с лучшими учениками, завоевал авторитет и у отстающих, которых Бог не одарил светлой головой, зато дал крепкие ноги и выносливость. Здесь они разлучались с Пьером: он в футбол не играл, хотя от природы был очень ловким. Пьер рос быстрее, чем Жак, но при этом худел, становился все более и более хрупким и его светлые волосы казались теперь совсем бесцветными, словно пересадка в новую почву не пошла ему на пользу[140]. Жак отставал в росте, его дразнили «шкетом» и «коротышкой», но он плевал на это и, гоняя без удержу мяч, обходя то дерево, то атакующего противника, чувствовал себя королем двора и жизни. При звуках барабана, возвещавшего конец перемены, Жак буквально сваливался с неба: он застывал посреди площадки, запыхавшийся, весь в поту, негодуя на быстротечность времени, потом постепенно приходил в себя и бросался вслед за товарищами, утирая рукавом пот и впадая вдруг в ужас при мысли о том, что сталось с гвоздя-

[140] Примечания: 140

[b] развить.

ми, которыми были подбиты его башмаки. Он с беспокойством осматривал их потом в классе, мысленно сопоставляя их нынешний вид со вчерашним, и в конце концов успокаивался, поняв, что разницу определить трудно. За исключением тех случаев, когда какой-нибудь непоправимый ущерб — оторванная подметка, отлетевшая союзка, свернутый на сторону каблук — не оставлял никакого сомнения насчет встречи, ожидавшей его дома, и он с трудом сглатывал слюну, борясь с легкой тошнотой, и пытался искупить свою вину усердной работой, но, несмотря на все усилия, страх перед «бычьей жилой» мешал ему сосредоточиться. Эти последние занятия тянулись бесконечно долго. Во-первых, они действительно длились подряд два часа. Во-вторых, надвигался вечер или было уже темно. Из высоких окон был виден парк Маренго. Все сидели притихшие, утомленные учебой и играми, углубившись в последние недоделанные задания. Особенно это чувствовалось в конце года, когда сумерки опускались на высокие деревья, на цветники и банановые рощицы в парке. Небо приобретало зеленый оттенок, все более и более глубокий, и казалось выше и шире, а городской шум делался далеким и приглушенным. Если стояла жара и

окна оставляли открытыми, то было слышно, как кричат в саду последние ласточки; горьковато-кислые запахи чернил и линеек тонули в аромате магнолий. Жак сидел и грезил с какой-то странной грустью на сердце, пока ему не делал замечание молодой надзиратель, который сам писал дипломную работу, заканчивая медицинский факультет. Приходилось ждать, когда раздастся последний сигнал барабана.

[141] В семь часов лицей мгновенно пустел. Ребята бросались к выходу и устремлялись шумными стайками вниз по улице Баб-Азун, где все магазины были ярко освещены, а на тротуарах под аркадами толпилось столько народу, что им приходилось бежать по проезжей части, между рельсами, пока вдали не показывался трамвай, — тогда они снова ныряли под аркады, и так всю дорогу, пока не оказывались на Губернаторской площади, окруженной цепочкой огней: это торговцы-арабы зажигали в своих киосках ацетиленовые лампы, и дети с наслаждением вдыхали их запах. Красные трамваи стояли на остановке и ждали, уже набитые битком, народу было даже больше, чем утром, и детям не раз приходилось

---

[141] Примечания: 141

[a] нападение педераста.

ездить на подножке прицепов, что, в общем, допускалось, хотя и было официально запрещено. На остановках, когда кто-то из пассажиров выходил, они поднимались в вагон, втискивались в плотную людскую массу, и, разлученные толпой, лишенные возможности поболтать, упрямо работали локтями и плечами, чтобы пробраться поближе к окнам, откуда был виден темный порт и большие усеянные точками огней пароходы: среди черноты неба и моря они напоминали остовы обгорелых зданий после пожара, когда пламя уже погасло, а угли еще продолжают тлеть. Освещенные трамваи с грохотом проезжали вдоль моря, потом сворачивали немного в сторону и ехали дальше между домами, все более и более обшарпанными, до остановки «Белькур» — здесь надо было расставаться и подниматься по вечно темной лестнице к круглому островку света под керосиновой лампой: она озаряла клеенку и стулья вокруг стола, оставляя в полумраке почти всю комнату, где возилась у буфета Катрин Кормери, доставая посуду к ужину, пока бабушка разогревала на кухне оставшееся с обеда рагу, а старший брат, устроившись у стола, читал приключенческий роман. Иногда Жака просили сбегать к бакалейщику-мзабиту купить к столу соль или

четверть фунта масла, или зайти за дядей Эрнестом, который разглагольствовал в кафе у Габи. В восемь садились ужинать и ели молча, если только дядя не принимался рассказывать, хохоча во все горло, какую-нибудь малопонятную историю, но в любом случае о лицее речь не заходила никогда, разве что бабушка изредка интересовалась, хорошие ли у Жака отметки, он отвечал «да», и разговор на этом заканчивался, мать не спрашивала его ни о чем, она только кивала и смотрела на него нежным взглядом, когда он говорил, что отметки у него хорошие, но всегда молча и чуть отвернувшись, «сидите, — обращалась она к бабушке, — я подам сыр сама», и больше ни слова до конца ужина, когда она вставала и начинала убирать со стола. «Помоги матери», — говорила бабушка, ибо он сразу же с жадностью хватался за «Пардайянов». Жак помогал, потом снова садился под лампу, положив толстую книгу о подвигах и дуэлях на голую чистую клеенку, а мать, забрав стул из освещенного круга, садилась — зимой у окна, летом на балконе — и смотрела на движение трамваев, машин и людей, которых в этот час становилось все меньше и меньше[142]. И не она,

[142] Примечания: 142

[a] Люсьен: 14 — полная начальная школа, 16 — Страховая компания.

а бабушка говорила Жаку, что пора идти спать, потому что ему вставать в половине шестого, и он целовал сначала ее, потом дядю и наконец мать, которая рассеянно и нежно целовала его в ответ и снова застывала в прежней позе, устремив взгляд на реку уличной жизни, неизменно катившуюся мимо берега, где она неизменно сидела, а ее сын с неизменным комком в горле следил за ней из темноты и, глядя на ее худую, согнутую спину, испытывал глухую тревогу перед какой-то непонятной ему бедой.

Курятник. Как резали курицу

Эта тревога перед неизвестностью и смертью, которую он чувствовал всякий раз, возвращаясь из лицея домой, подбиралась к нему с приближением сумерек и охватывала его с такой же быстротой, с какой темнота поглощала землю и свет, не отпуская до тех пор, пока бабушка не зажигала керосиновую лампу: сняв стекло и положив его на клеенку, она вставала на цыпочки, прислонясь к краю стола, и наклонялась вперед, слегка повернув голову, чтобы лучше видеть горелку под абажуром. Одной рукой она крутила медное колесико, которым регулировалась высо-

та фитиля, другой водила по фитилю зажженной спичкой, фитиль коптил, потом наконец вспыхивал ровным, ясным огнем, и бабушка вставляла на место стекло, чуть скрипевшее о медные резные зубчики вокруг фитиля; распрямившись, бабушка еще подкручивала фитиль, и постепенно теплый желтый свет разливался над столом широким ровным кругом, озарив мягким сиянием, слегка отраженным клеенкой, лица женщин и мальчика, стоявшего все это время по другую сторону стола, и сердце его медленно разжималось, по мере того как свет делался ярче.

Ту же самую тревогу он испытывал, борясь с ней из гордости или тщеславия, когда бабушка посылала его на двор за курицей. Бывало это обычно по вечерам, накануне какого-нибудь большого праздника — Рождества или Пасхи — или перед приездом более состоятельных родственников, которых хотели почтить, а заодно и скрыть от них из соображений благопристойности истинное положение семьи. Примерно тогда же, когда Жак начал учиться в лицее, бабушка попросила дядю Жозефена привезти ей из своих воскресных поездок несколько арабских цыплят, заставила дядю Эрнеста сколотить во дворе, прямо на склизкой от сырости земле, грубый дощатый курятник

и с тех пор держала там пять-шесть кур, чтобы семья ела яйца, а при случае и самих несушек. Собравшись в первый раз совершить экзекуцию, бабушка, когда вся семья сидела за столом, попросила старшего из мальчиков доставить ей жертву. Но Луи[143] отказался, откровенно заявив, что боится. Бабушка начала насмехаться над ним и разразилась речью о никчемных нынешних детях, которые растут чистоплюями, то ли дело раньше, тогда никто ничего не боялся, хотя жили в глухой степи. «Жак похрабрее тебя, — сказала она, — я уверена. Иди ты, Жак». На самом деле, Жак вовсе не чувствовал себя храбрее. Но после этих слов отступить он уже не мог и пошел. Нужно было спуститься в темноте по лестнице, свернуть внизу в такой же темный коридор, нащупать дверь черного хода и открыть ее. Снаружи было не так темно. Можно было разглядеть четыре позеленевших от сырости ступеньки, ведущие во двор. Справа, сквозь ставни домика, где жил парикмахер и арабская семья, пробивался слабый свет. Напротив виднелись белые[144] пятна: это были куры, спавшие на полу или на загаженных

[143] Примечания: 143

[1] Брат Жака где-то назван Анри, где-то Луи.

[144] Примечания: 144

[a] бесформенные.

насестах. Жак подошел и, присев на корточки, просунул пальцы сквозь широкие ячейки решетки, но едва он коснулся шаткого курятника, как там поднялось глухое кудахтанье и в нос ему ударил теплый и тошнотворный запах помета. Он открыл маленькую решетчатую дверцу над самой землей, наклонился, чтобы запустить руку поглубже, с отвращением нащупал грязный пол, потом насест и тут же отпрянул, застыв от ужаса, когда куры заметались и захлопали крыльями. Его назвали храбрым, значит, надо было собраться с духом. Но эта суматоха в загаженном темном курятнике парализовала его, наполнила тревожным чувством, от которого сосало под ложечкой. Он немного подождал, глядя вверх, на чистую темноту ночи, на небо, полное ясных спокойных звезд, потом стремительно протянул руку, схватил первую попавшуюся куриную лапу, дернул за нее, поймал вторую лапу другой рукой и рывком вытащил ошалевшую от страха курицу, ободрав ей половину перьев о дверцу. В курятнике началась паника и поднялся такой шум, что во внезапно обозначившемся прямоугольнике света возник встревоженный сосед-араб. «Это я, месье Тахар, — пролепетал Жак еле слышно. — Бабушка послала меня за курицей». — «А-а, это ты. Хоро-

шо, а я уж думал, воры», — он ушел в дом, и двор снова погрузился во мрак. Жак бросился бежать, таща вырывавшуюся курицу, задевая ею о стенки коридора и перила лестницы. Он чувствовал в руках жесткую холодную чешую куриных лап, его мутило от ужаса и отвращения, и он несся наверх все быстрее и быстрее, пока наконец не влетел с победоносным видом в столовую. Он остановился в дверях, всклокоченный, бледный от страха, с зелеными от дворового мха коленками, стараясь держать курицу как можно дальше от себя. «Вот видишь, — сказала бабушка брату. — Он младше тебя, но он тебя посрамил». Жак раздулся от гордости, но только после того, как бабушка твердой рукой забрала у него курицу, которая сразу же затихла, словно поняв, что сопротивление бессмысленно. Брат продолжал есть, не глядя на него, и только состроил презрительную гримасу, доставившую Жаку огромное удовольствие. Но он не долго наслаждался своим торжеством. Бабушка, довольная тем, что у нее такой мужественный внук, в награду за подвиг позвала его на кухню — смотреть, как она будет резать курицу. Она уже надела необъятный синий фартук и, по-прежнему держа курицу за ноги, приготовила на полу большую глубокую тарелку и длинный

кухонный нож, который дядя Эрнест регулярно точил на специальном черном камне, так что лезвие за долгие годы превратилось в тонкий блестящий клинок. «Отойди туда». Жак перешел в дальний угол кухни, а бабушка встала в дверях, загородив выход и ему, и курице. Прижавшись спиной к раковине, Жак с ужасом следил за четкими и деловитыми действиями палача. Бабушка пододвинула тарелку поближе к керосиновой лампе, горевшей на деревянном столе слева от двери. Она положила курицу на пол и, прижав ей лапы коленом, придавила сверху руками, чтобы она не билась, потом схватила левой рукой голову и оттянула над тарелкой назад. Острым, как бритва, ножом она стала медленно перерезать курице горло в том месте, где у людей находится кадык, одновременно выворачивая ей шею и растягивая надрез, так что нож с чудовищным хрустом входил все глубже и глубже в хрящи. Бабушка по-прежнему придерживала тело птицы, по которому пробегали страшные судороги, а Жак смотрел, как ярко-красная кровь хлещет в белую тарелку, и у него подгибались ноги, словно это текла его собственная кровь. Прошла целая вечность, и бабушка вдруг сказала: «Убери тарелку». Кровотечение прекратилось, Жак осторожно по-

ставил тарелку на стол и заметил, что кровь в ней уже потемнела. Бабушка бросила рядом курицу с растрепанными перьями и уже остекленевшим взглядом под круглыми сморщенными веками. Жак поглядел на неподвижное тело, на скрюченные лапы и поблекший дряблый гребешок, словом, на смерть, потом ушел в столовую[145]. «Я лично не могу на это смотреть, — сказал ему в тот вечер брат с затаенной злостью. — Это мерзость». — «Да нет, почему», — неуверенно ответил Жак. Луи посмотрел на него враждебным и в то же время испытующим взглядом. Жак взял себя в руки и расправил плечи. Он подавил в себе смятение и панический страх, охватившие его при соприкосновении с тьмой и ужасом смерти, обретя в гордости и только в гордости волю к мужеству, которая ему мужество заменила. «Ты просто трусишь, вот и все», — сказал он в конце концов. «Да, — подхватила вернувшаяся из кухни бабушка, — теперь Жак у нас всегда будет ходить в курятник». — «Хорошо, хорошо, — сказал, сияя, дядя Эрнест, — он храбрый». Жак похолодел и посмотрел на мать, которая сидела поодаль и штопала носки на большом деревянном яйце.

---

[145] Примечания: 145

[a] назавтра — запах опаленной курицы.

Мать взглянула на него. «Да, — сказала она, — молодец, ты храбрый». И, отвернувшись, снова стала смотреть на улицу, а Жак, не сводивший с нее глаз, опять почувствовал, как у него заныло сердце. «Иди спать», — сказала бабушка. Обычно Жак раздевался, не зажигая лампы, при свете, падавшем из столовой. Он ложился на самый край, чтобы случайно не толкнуть брата. Под грузом усталости и впечатлений он засыпал сразу, просыпаясь иногда оттого, что брат перебирался через него к стенке, так как вставал по утрам позже, чем Жак, или оттого, что мать, укладываясь, задевала в темноте шкаф: она тихонько ложилась и дышала во сне так легко, что казалось, будто она не спит, и Жак иногда действительно так думал, ему даже хотелось окликнуть ее, но он говорил себе, что она все равно не услышит, и пытался бодрствовать вместе с ней, лежа так же тихо и неподвижно, пока сон не смаривал его, как и мать, давно уже спавшую после целого дня стирки или уборки.

Четверги и каникулы

Только по четвергам и воскресеньям Пьер и Жак возвращались в свой прежний мир (за ис-

ключением тех случаев, когда Жак по четвергам бывал «оставлен», то есть лишен за какое-то мелкое прегрешение свободного дня, и ему надлежало — как гласило извещение из учебной части, которое Жак давал матери на подпись, выразив его содержание одним словом: наказан, — провести два часа с восьми до десяти (а при серьезных нарушениях и все четыре) в лицее, в специальном классе, где провинившиеся должны были под присмотром надзирателя — как правило, злющего, из-за того что его заставили приходить в выходной, — выполнять какое-нибудь абсолютно бессмысленное письменное задание[146]. Пьер за восемь лет обучения в лицее не был оставлен ни разу. Зато на неугомонного и к тому же тщеславного Жака, готового вечно паясничать, чтобы обратить на себя внимание, наказания буквально сыпались. И сколько он ни объяснял бабушке, что его наказывают за дисциплину, она не видела разницы между тупостью и плохим поведением. Она считала, что хороший ученик — это непременно образец послушания и благонравия, равно как благонравие есть прямой путь к учености. Поэтому наказания по четвергам

[146] Примечания: 146

[a] В лицее — не «сшибки», а «разборки».

усугублялись, во всяком случае в первые годы, «бычьей жилой» по средам).

По воскресеньям и четвергам — если Жак был свободен от наказания — утро уходило обычно на беготню по магазинам и всякие домашние поручения. Во второй половине дня Пьеру и Жану[147] разрешалось погулять. Летом они отправлялись на пляж Саблет или на поле для маневров — большой пустырь с грубо размеченным футбольным полем и площадками для игры в шары. Можно было поиграть в футбол — обычно тряпичным мячом — с другими мальчишками, арабами и французами, если набирались команды. Но чаще всего они ездили на Кубу[148], в Дом инвалидов, куда мать Пьера, оставив службу на почте, устроилась кастеляншей. Кубой назывался холм в восточной части города, возле конечной остановки одной из трамвайных линий[149]. Город здесь и в самом деле заканчивался, и начинались мягкие пейзажи Сахеля: плавные склоны, сравнительно щедрые реки, почти тучные луга, поля с аппе-

---

[147] Примечания: 147

[1] Имеется в виду Жак.

[148] Примечания: 148

[a] Правильное ли название?

[149] Примечания: 149

[b] пожар.

титной красной землей, кое-где разделенные тростниковыми изгородями или кипарисами. Здесь буйно росли фруктовые деревья, виноград, кукуруза, не требуя большого труда. Среди тех, кто приезжал сюда из города, особенно из жарких и влажных нижних кварталов, здешний воздух считался прохладным и полезным для здоровья. Поскольку летом все хоть сколько-нибудь состоятельные жители столицы в поисках прохлады уезжали во Францию, то если воздух где-то оказывался чуть свежее, чем в самом городе, его немедленно объявляли «французским». Так что на Кубе Пьер и Жак дышали французским воздухом. Дом инвалидов, созданный вскоре после войны для искалеченных ветеранов, находился в пяти минутах ходьбы от трамвайной остановки. Он располагался в бывшем монастыре, очень большом, со сложной архитектурой: здесь было множество пристроек и флигелей, толстые белые стены, крытые галереи и прохладные сводчатые залы, где размещались столовые и службы. В одном из таких залов находилась бельевая, которой заведовала мадам Марлон, мать Пьера. Здесь, среди запаха горячих утюгов и влажного белья, она работала вместе с двумя подручными, француженкой и арабкой, и сюда, приезжая,

заходили к ней дети. Она давала каждому из них по куску хлеба и шоколада и, засучивая рукава на красивых полных руках, говорила: «Суньте это в карман, съедите на полдник в четыре часа, а сейчас идите в парк, мне надо работать».

Сначала дети бродили по галереям и внутренним дворам и чаще всего съедали свой полдник сразу, потому что хлеб в кармане им мешал, а шоколад быстро становился липким. Им встречались люди без руки или без ноги, кто-то сидел в специальных колясках с велосипедными колесами. Там не было ни слепых, ни раненных в лицо, а только калеки, многие с наградами на груди, пустой рукав или брючина над невидимой культей были аккуратно подогнуты и заколоты английской булавкой, это не вызывало страха, их было много. Когда первое потрясение прошло, дети приняли это, как принимали все новое, сразу же включая очередное открытие в общий порядок вещей. Мадам Марлон объяснила им, что эти люди потеряли руку или ногу на войне, а война была частью их мира, о ней без конца говорили старшие, она напоминала о себе во всем, поэтому их не слишком удивляло, что на войне могло оторвать руку или ногу, скорее, наоборот, им было проще всего определить для себя войну

как время, когда люди лишались рук и ног. Так что эта обитель калек нисколько не угнетала детей. Правда, там попадались люди мрачные и молчаливые, но их было немного, в основном все были молодые, веселые и шутили даже над собственным увечьем. «Вы не смотрите, что я одноногий, — говорил детям пышущий здоровьем блондин с квадратной челюстью, любивший наведаться в бельевую, — я отлично могу дать пинок под зад». Опираясь одной рукой на костыль, а другой на парапет галереи, он подтягивался и с силой выбрасывал вперед единственную ногу. Дети смеялись вместе с ним, а потом удирали. Их не удивляло, что они одни здесь могут бегать и пользоваться обеими руками. Однажды, когда Жак, играя в футбол, вывихнул ногу и на несколько дней охромел, его вдруг пронзила мысль, что инвалиды, которых он видел по четвергам, лишены на всю жизнь счастья бегать, вскакивать на подножку трамвая и бить по мячу. Чудо человеческого устройства внезапно поразило его, и в тот же миг возник слепой страх: а вдруг он тоже когда-нибудь станет калекой, потом он про это забыл.

Они[150] проходили через столовые с полузакрытыми ставнями, где поблескивали в полумраке длинные, оцинкованные столы, потом через кухню с огромными котлами и кастрюлями, откуда всегда тянуло пригорелым салом. В самом дальнем крыле они мимоходом заглядывали в спальни: в каждой стояло по две-три кровати под серыми одеялами и белый деревянный шкаф. Потом мальчики спускались по внешней лестнице в парк.

Парк был огромный и почти совсем запущенный. Некоторые из обитателей дома ради удовольствия ухаживали за ближними розариями, клумбами и маленьким, обнесенным тростниковой изгородью огородом. Но чуть подальше весь этот некогда роскошный парк был совершенно диким. Гигантские эвкалипты, великолепные кокосовые пальмы, каучуковые деревья[151] с огромными стволами, у которых нижние ветви пускали корни, образуя лабиринт темных таинственных зарослей, пышные стройные кипарисы, апельсиновые деревья, целые рощи белых и розовых олеандров невероятной высоты

---

[150] Примечания: 150

* дети.

[151] Примечания: 151

[a] другие высокие деревья.

обступали заброшенные аллеи, где гравий давно поглотила глина, а дорожки заполонили пахучие дебри жасмина, чубушника, ломоноса, пассифлоры и жимолости, в свою очередь заросшие снизу буйной зеленью клевера, кислицы и диких трав. Пробираться сквозь эти благоухающие джунгли, ползать там, утопая в траве, ножом прокладывать путь сквозь непроходимую чащобу и выбираться с исцарапанными ногами и мокрым лицом было упоительным счастьем.

Но главным их занятием было изготовление страшных ядов. Под старой каменной скамейкой, возле увитой виноградом стены, у них была устроена настоящая лаборатория с целым арсеналом пустых тюбиков из-под лекарств, аптечных пузырьков, старых чернильниц, стеклышек и выщербленных чашек. Здесь, в самом глухом уголке парка, вдали от посторонних глаз, они готовили таинственные колдовские напитки. Основу их составлял олеандр, потому что детям не раз приходилось слышать, что его тень пагубна для человека и кто заснет под олеандром, тот никогда не проснется. Они рвали с олеандра листья и цветы и тщательно растирали их между камнями, пока не получалась противная (вредоносная) кашица, один вид которой сулил смерть в страш-

ных муках. Эту кашицу они ставили на солнце, и на ней вскоре появлялись зловещие переливы и пузыри. Тем временем один из мальчиков бежал с пустой бутылкой за водой. Потом они перетирали кипарисовые шишки. Дети считали их ядовитыми по той сомнительной причине, что кипарис слыл кладбищенским деревом. Они рвали шишки с веток, а не подбирали с земли, поскольку на дорожках шишки выглядели сухими и твердыми и от них веяло совершенно излишней крепостью и здоровьем[152]. Обе кашицы затем смешивались в старой банке, разводились водой и процеживались через грязный носовой платок. Получался сок устрашающего зеленого цвета, и дети обращались с ним со всеми предосторожностями, каких требует опаснейший яд. Они бережно разливали его по пузырькам и наглухо затыкали пробками, стараясь не замочить пальцев. Оставшуюся гущу смешивали с разными другими составами, добытыми из всех ягод и плодов, какие только можно было в данный момент найти, чтобы выработать группу ядов, все более и более изощренных, которые они тщательно нумеровали и прятали до следующего четверга под скамейку,

[152] Примечания: 152

[a] восстановить хронологию.

чтобы те как следует настоялись. Изготовив свои адские снадобья, Ж. и П. восхищенно созерцали коллекцию смертоносных склянок и с наслаждением вдыхали горьковато-кислый запах, шедший от заляпанной их месивом скамейки. Впрочем, эти яды ни для кого конкретно не предназначались. Химики мысленно прикидывали, сколько человек можно было бы ими отравить, и по их оптимистическим подсчетам получалось порой, что весь город. При этом им никогда не приходило в голову избавиться с помощью ядовитого зелья от какого-нибудь одноклассника или ненавистного учителя. Потому что на самом деле они ни к кому не питали ненависти, и это свойство их натуры оказалось очень невыгодным впоследствии, когда они выросли и попали в то общество, в котором им выпало жить.

Но самыми чудесными были ветреные дни. Одно крыло дома, выходившее в парк, заканчивалось разрушенной террасой: остатки ее каменной балюстрады валялись в траве возле широкого цементного цоколя, отделанного красной плиткой. Эта терраса, открытая с трех сторон, возвышалась над парком и над большой лощиной вдали, отделявшей Кубу от одного из первых плато Сахеля. Когда дул восточный ветер, всегда очень сильный

в Алжире, террасу продувало насквозь. В такие дни дети бежали к ближайшим пальмам, под которыми всегда валялись большие сухие ветки. Они обстругивали их у основания, чтобы удобно было браться за них обеими руками. Потом, волоча ветки за собой, возвращались к террасе; ветер свистел в верхушках эвкалиптов, яростно раскачивая их из стороны в сторону, лохматил пальмы и терзал широкую блестящую листву каучуковых деревьев, шуршавшую, как мятая бумага. Нужно было вскарабкаться на террасу, втащить туда свою добычу и стать спиной к ветру. Мальчики прижимали к себе сухие скрипучие ветки, крепко держа их двумя руками и загораживая своим телом, потом резко поворачивались на сто восемьдесят градусов. Ветка сразу приклеивалась к ним, обдавая запахом пыли и сухих листьев. Игра состояла в том, чтобы двигаться против ветра, поднимая ветку все выше и выше. Победителем считался тот, кому удавалось дойти до края террасы, так чтобы ветер не вырвал у него ветку, а потом еще там постоять, держа ветку в поднятых руках, борясь как можно дольше с неистовой силой ветра. Стоя над парком и над всей этой кипящей равниной листвы, под необъятным небом, по которому с бешеной скоростью

неслись огромные облака, Жак чувствовал, как ветер, прилетевший из дальних уголков страны, проникает через его вытянутые руки, державшие ветку, в самую глубь его существа, наполняя его силой и ликованием, от которых он непрерывно кричал, пока руки и плечи от напряжения не начинали болеть, тогда он бросал ветку и ветер мгновенно уносил ее прочь. Вечером, в изнеможении лежа в тишине спальни, где, беззвучно дыша, спала мать, он все еще слышал, как бушует и ревет в нем ветер, который ему суждено было любить всю жизнь.

Еще они ходили по четвергам в муниципальную библиотеку[153]. Жак и раньше поглощал попадавшиеся ему под руку книги так же ненасытно, как он жил, играл или мечтал. Чтение позволяло ему ускользнуть в блаженный мир, где богатство и бедность были одинаково привлекательны, ибо совершенно нереальны. Большие альбомы с иллюстрированными выпусками «Неустрашимого», переходившие из рук в руки столько раз, что картонный переплет терял всякий вид и цвет, а страницы замусоливались до дыр, первыми увлекли его в атмосферу веселья и

[153] Примечания: 153

[a] отделить их от их среды.

лихих приключений, утоляя в нем одновременно и жажду смешного, и жажду героического. Любовь к героизму и эффектным подвигам была явно очень сильна у обоих мальчиков, особенно если судить по невероятному количеству проглоченных ими романов плаща и шпаги и по той легкости, с которой персонажи «Пардайянов» входили в их повседневную жизнь. Их главным автором был Мишель Зевако, и Возрождение, особенно итальянское, расцвеченное золотом и пурпуром, утопавшее в роскоши римских и флорентийских дворцов, где тайно властвовали кинжал и яд, влекло непреодолимо этих двух аристократов: нередко посреди пыльной желтой улицы, где жил Пьер, они выхватывали длинные лакированные линейки и устраивали между мусорными ящиками горячие поединки, надолго оставлявшие следы на ладонях и пальцах[154]. В то время они не могли достать других книг, потому что попросить было не у кого, а сами они ничего купить не могли, разве что изредка дешевые популярные книжки, валявшиеся на прилавках местных книготорговцев.

---

[154] Примечания: 154

[a] На самом деле они дрались за право быть д'Артаньяном или Паспуалем. Никто не хотел быть Арамисом, в крайнем случае — Атосом или Портосом.

Но примерно тогда же, когда они поступили в лицей, в их районе открылась муниципальная библиотека. Она располагалась на полпути между их окраиной и более высокой частью города, где начинались красивые улицы с виллами и садами, полными душистых кустарников и деревьев, так буйно растущих на теплых и влажных склонах Алжира. Рядом с виллами раскинулся большой парк пансиона св. Одилии, религиозного заведения, куда принимали только девочек. Здесь, так близко и в то же время так далеко от их квартала, Жак и Пьер испытали самое глубокое в своей жизни волнение (о котором еще не наступило время рассказать, о котором будет рассказано… и т. д.). Граница, разделявшая эти два мира (один пыльный и голый, где все пространство было отдано камням и ютившимся в каменных мешках людям, другой — весь в цветах и деревьях, даривших его обитателям единственную подлинную роскошь на этой земле), пролегала по широкому бульвару, усаженному с обеих сторон великолепными платанами. На одной его стороне стояли виллы, на другой — маленькие дешевые дома. Здесь и находилась библиотека.

Она работала три раза в неделю по вечерам,

а в четверг еще и с утра. Молодая учительница, довольно невзрачная, бесплатно посвящала библиотеке несколько часов свободного времени. Она сидела за широким белым столом и выдавала книги. Все стены вокруг были заняты светлыми деревянными стеллажами с книгами в черных матерчатых переплетах. Там стоял еще маленький столик с двумя-тремя стульями — для тех, кто хотел быстро заглянуть в энциклопедию или в словарь, ибо читального зала там не было — и алфавитный каталог, в который ни Жак, ни Пьер никогда не заглядывали, предпочитая бродить вдоль полок и выбирать книгу по названию, реже — по фамилии автора, после чего они смотрели ее номер и записывали на голубой бланк заказа. Чтобы иметь право брать здесь книги, надо было всего лишь представить квитанцию об уплате за квартиру и регулярно платить незначительный взнос. Тогда выдавали карточку со сложенным гармошкой вкладышем — сюда заносились названия взятых книг, которые учительница записывала одновременно к себе в журнал.

Главным образом здесь были романы, но многие из них не выдавались детям до пятнадцати лет и стояли отдельно. Выбирая из оставшихся, Жак и Пьер руководствовались исключительно

интуицией. Однако случай не самый плохой советчик в таких делах, и они поглощали лучшее наравне с худшим, не стремясь вынести из чтения что-либо для себя полезное и действительно не выносили почти ничего, кроме странного и сильного волнения, из которого рождался, разрастаясь из года в год, огромный мир картин и образов, не имевший ничего общего с их настоящей жизнью, но ничуть не менее реальный для этих пылких читателей, которые жили в мечтах так же напряженно, как в повседневной действительности[155][156].

Содержание книг, в общем, не имело значения. Важно было, что они чувствовали — сначала в самой библиотеке, которая была для них не комнатой с черными от книг стенами, а необозримым пространством с безграничными далями, и, едва попав туда, они оказывались далеко за пределами замкнутой жизни их квартала. Потом наступал момент, когда, получив дозволенные книги и крепко зажав их под мышкой, они шли по уже темному в этот час бульвару, наступая на круглые и твердые плоды платанов, и пред-

[155] Примечания: 155

[a] Страницы словаря Кийе, запах полок.

[156] Примечания: 156

[b] Мадемуазель, Джек Лондон — это интересно?

вкушали удовольствие от новых книг, заранее сравнивая их с прочитанными на прошлой неделе. Наконец, дойдя до главной улицы, мальчики останавливались под первым же тусклым фонарем и листали страницы в поисках какой-нибудь фразы (напр.: «он обладал нечеловеческой силой»), которая укрепила бы их в радостной и жадной надежде. Они быстро прощались и бежали по домам, чтобы поскорее раскрыть книгу на клеенке под керосиновой лампой. От грубого шершавого переплета приятно пахло клеем.

Уже по типу издания Жак мог судить о предстоящем наслаждении. П. и Ж. не любили крупный шрифт и большие поля, столь милые сердцу авторов и читателей с утонченным вкусом. Они предпочитали испещренные мелкими буковками страницы и теснящиеся строки, заполненные до краев словами и фразами, как большие деревенские миски, рассчитанные на истинно богатырский аппетит, из которых можно есть много и долго, не добираясь до дна. Им, не знающим ничего и жаждущим узнать все, не нужна была утонченность. Плохой слог и примитивность сюжета не имели значения, лишь бы книга была понятно написана и полна бурной жизни — только такие книги давали им необходимую

порцию грез, за которыми следовал крепкий беспробудный сон.

У каждой книги имелся еще и свой запах в зависимости от того, на какой бумаге она была напечатана, тонкий, едва уловимый, но всегда особый, и Жак мог с закрытыми глазами отличить том Нельсоновской серии от книг, выходивших в ту пору в издательстве «Фаскель». Еще до того как Жак успевал открыть книгу, эти запахи уносили его в другой мир, полный обещаний, уже [сбывшихся], и этот мир постепенно вытеснял столовую, где он сидел, улицу с ее шумом, сам город и весь белый свет, который полностью исчезал, как только Жак начинал читать, страстно, самозабвенно, опьяняясь чтением до такой степени, что даже бабушкины приказания не могли его оторвать[157]. «Жак, накрой на стол, третий раз тебе говорю». Он накрывал на стол, глядя вокруг пустыми, невидящими глазами, слегка затуманенными, словно чтение действовало на него как наркотик, и снова погружался в книгу, как будто и не отрывался от нее. «Жак, ешь», он ел, и эта пища, хотя и весьма плотная, казалась ему менее реальной, чем та, что давала книга, по-

[157] Примечания: 157

[a] развить.

том убирал со стола и снова читал. Иногда мать, прежде чем сесть у окна, подходила к нему. «Это из библиотеки», — говорила она. Она с трудом выговаривала это слово, которое слышала от сына, не вполне понимая, что оно значит, но отличала книги по переплету[158]. «Да», — отвечал Жак, не поднимая головы. Катрин Кормери склонялась над его плечом. Она смотрела на два белых прямоугольника, испещренных одинаковыми рядами букв, вдыхала типографский запах, а иногда даже проводила по строчкам загрубелыми от стирки пальцами, словно хотела понять, что же такое книга, прикоснуться к этим таинственным значкам, в которых ее сын находит неведомую ей жизнь, а потом, оглянувшись, смотрит на нее как на незнакомку. Узловатой рукой она тихонько гладила мальчика по голове, но он не реагировал, она вздыхала и шла к своему стулу, стоявшему далеко от него. «Жак, иди спать». Бабушке приходилось это повторять. «Ты проспишь». Жак вставал, собирал на завтра ранец, держа книгу под мышкой, и наконец засыпал, как пьяный, тяжелым сном, засунув книгу под подушку.

Так на протяжении многих лет его жизнь де-

[158] Примечания: 158

[b] Ему поставили (дядя Эрнест) маленький письменный стол из светлого дерева.

лилась на две неравные части, и ему никак не удавалось связать их между собой. Двенадцать часов в день он жил под звуки барабана в обществе ребят и учителей, между играми и занятиями. Оставшиеся два-три часа он проводил дома, на своей старой окраине, подле матери, с которой по-настоящему его объединял только сон. Хотя вся прежняя его жизнь прошла в этом квартале, его жизнь нынешняя и, главное, его будущее были связаны с лицеем. И постепенно образ квартала начал сливаться в его сознании с вечерними часами, мечтами и сном. Да и существовал ли он на самом деле, этот квартал, не был ли он и вправду той пустыней, какой показался однажды Жаку в минуту беспамятства? Падение на цемент… Он по-прежнему не мог в лицее никому рассказать о матери и о своей семье. Никому дома не мог рассказать о лицее. Ни один однокашник, ни один учитель за все эти годы ни разу не приходил к ним в дом. А мать и бабушка бывали в лицее только раз в году, на церемонии вручения наград в начале июля. В этот день они входили туда через парадную дверь в нарядной толпе родителей и учеников. Бабушка облачалась в выходное платье и черный платок. Катрин Кормери надевала шляпу, украшенную восковой гроздью

темного винограда и коричневым тюлем, летнее коричневое платье и свои единственные туфли на каблуке. Жак в белой рубашке с короткими рукавами — штаны его, сначала короткие, потом длинные, всегда были тщательно отглажены матерью накануне — шествовал между обеими женщинами. Около часа дня он вел их к остановке красного трамвая, усаживал в первый вагон, а сам стоял на передней площадке, глядя в стекло на мать: она иногда улыбалась ему и без конца проверяла, хорошо ли сидит шляпка, не морщатся ли чулки, или поправляла на груди маленький золотой медальон с изображением мадонны. От Губернаторской площади он вел их дальше по улице Баб-Азун, где сам проходил каждый день и только раз в году — вместе с ними. От матери пахло лосьоном («Ламперо»), которым она щедро душилась по такому случаю; бабушка, как всегда, прямая и горделивая, отчитывала дочь, когда та жаловалась на ноги («В другой раз будешь знать, как носить в твоем возрасте тесные туфли»), а Жак всю дорогу показывал им торговцев и магазины, занимавшие столь важное место в его жизни. В лицее был открыт парадный вход и первые гости уже поднимались по центральной лестнице, сверху донизу украшенной зелеными

растениями в кадках, — Кормери, естественно, приходили задолго до назначенного времени, как все бедняки, у которых мало светских обязанностей и развлечений, и они вечно боятся опоздать[159]. Гостей вели во внутренний двор старших классов, где стояли ряды стульев, взятых напрокат в каком-то концертном заведении, а в глубине возвышалась широкая эстрада, уставленная креслами и стульями и тоже украшенная огромным количеством зелени. Двор постепенно заполнялся светлыми нарядами, ибо большинство приглашенных составляли женщины. Те, кто пришел пораньше, сидели в тени, под деревьями. Остальные обмахивались соломенными арабскими веерами с красными шерстяными помпончиками по краям. Небо наливалось тяжестью и приобретало твердость металла.

В два часа невидимый военный оркестр, расположившийся на верхней галерее, начинал играть «Марсельезу», гости вставали, и на эстраду поднимались учителя в четырехугольных шапочках и длинных мантиях, различавшихся по цвету в зависимости от преподаваемой нау-

[159] Примечания: 159

[a] те, к кому судьба неблагосклонна, где-то в глубине души невольно чувствуют себя виноватыми и не хотят усугублять эту главную вину мелкими упущениями…

ки, а во главе процессии шествовал директор и какое-нибудь официальное лицо (как правило, высокопоставленный чиновник губернаторской службы), которому выпала очередь отдуваться в этом году. Пока они рассаживались, военный марш заглушал стук передвигаемых стульев, затем официальный представитель брал слово и излагал свои воззрения на Францию вообще и на образование в частности. Катрин Кормери внимательно слушала, ничего не слыша, но никогда не выражала нетерпения или скуки. Бабушка слышала все, но мало что понимала. «Он хорошо говорит», — сообщала она дочери, и та убежденно кивала. Это придавало бабушке смелости, и она решалась взглянуть на своего соседа или соседку с другой стороны и улыбнуться им, подкрепляя кивком головы только что высказанное ею соображение. В первый год Жак заметил, что она одна пришла в черном платке, каких давным-давно никто не носил, кроме старых испанок, и ему стало неловко за нее. Если говорить честно, то от этого стыда он так никогда и не избавился. Он просто понял, что тут ничего не поделаешь, и смирился, после того как попытался однажды завести с бабушкой разговор о шляпе и услышал в ответ, что она не желает бросать деньги на

ветер и к тому же не любит, чтобы ей дуло в уши. Но, когда во время вручения наград бабушка заговаривала с соседями, он чувствовал, что позорно краснеет. После выступления чиновника вставал самый молодой из преподавателей, как правило, недавно прибывший из метрополии и работавший первый год — ему по традиции полагалось произнести торжественную речь. Обычно эта речь длилась полчаса или час, и молодой обладатель университетского диплома не упускал случая уснастить ее учеными тонкостями и литературными аллюзиями, что делало ее уже совершенно невнятной для алжирской публики. Жара нарастала, внимание рассеивалось, и веера мелькали все быстрее и быстрее. Даже бабушка начинала скучать и смотреть по сторонам. Только Катрин Кормери, по-прежнему внимательная, принимала, не моргнув глазом, падавший на нее[160] дождь мудрости и эрудиции. Жак вертелся, искал глазами Пьера и других одноклассников, подавал им знаки и затевал с ними долгий обмен гримасами. Потом собравшиеся шумными рукоплесканиями благодарили оратора за то, что он наконец умолк, и на эстраде приступали к

[160] Примечания: 160

* обтекавший ее.

вручению наград. Начинали обычно со старших, и в первые годы родным Жака приходилось просиживать во дворе лицея до вечера, дожидаясь, когда дойдет очередь до его класса. Под музыку вручались только высшие награды. Лауреаты, все более и более юные, вставали со своих мест, проходили через двор, поднимались на эстраду, получали поздравления, сопровождавшиеся рукопожатием чиновника, а потом и директора, который вручал им стопку книг (книги были сложены на тележках возле эстрады, и служитель подавал их директору, поднимаясь на эстраду чуть раньше ученика). Затем награжденный под музыку и аплодисменты спускался по лесенке с книгами под мышкой, ища глазами счастливых родителей, утиравших слезы. Небо постепенно теряло синеву, жара спадала, словно ее затягивала невидимая брешь где-то за морем. Лауреаты поднимались и спускались, звучали фанфары, двор незаметно пустел, и, только когда небо уже делалось зеленоватым, доходила очередь до младших классов. Как только объявляли его класс, Жак переставал дурачиться и становился серьезным. Когда выкликали его фамилию, он с гудящей головой вставал с места. Пробираясь к проходу, он слышал, как мать спрашивала у

бабушки: «Он сказал «Кормери»? — «Да», — отвечала бабушка, розовея от волнения. Потом — шествие по цементному двору, эстрада, жилет чиновника с цепочкой от часов, добрая улыбка директора, иногда дружеский взгляд кого-то из учителей, сидящих на эстраде, и, наконец, возвращение под музыку к матери и бабушке, уже поднявшимся ему навстречу. Мать смотрела на него с каким-то радостным удивлением, он вручал ей книгу почета с именами награжденных, бабушка взглядом призывала соседей в свидетели его триумфа, все происходило слишком быстро после бесконечных часов ожидания, и Жаку хотелось поскорее оказаться дома и посмотреть подаренные книги[161].

Возвращались они обычно вместе с Пьером и матерью[162], а бабушка молча сравнивала обе стопки книг, прикидывая, у кого больше. Придя домой, Жак по бабушкиной просьбе первым делом загибал в книге почета страницы, где значилось его имя, чтобы она могла показывать

[161] Примечания: 161

[a] «Труженики моря».

[162] Примечания: 162

[b] Она не видела лицея, не видела ничего, что составляло его повседневную жизнь. Она присутствовала на представлении для родителей. А лицей — это было совсем другое, это…

их соседям и родственникам. Потом бросался рассматривать свои сокровища. Он не успевал еще дойти до конца стопки, как мать уже выходила из своей комнаты, переодетая, в домашних туфлях, застегивая полотняную блузку, и пододвигала стул к окну. Мать улыбалась ему. «Ты хорошо поработал», — говорила она и, глядя на него, кивала головой. Он тоже смотрел на нее, как будто чего-то ждал, а она отворачивалась к окну и застывала в своей обычной позе, далеко от лицея, который увидит снова не раньше, чем через год; комнату незаметно заполняла тьма, и первые фонари зажигались над улицей[163], где теперь двигались люди без лиц.

Мать забывала о лицее, едва увидев его, а Жак с этого дня внезапно оказывался лицом к лицу с семьей и надолго оседал в своем квартале, не покидая его до осени.

Каникулы возвращали Жака к прежней жизни среди домашних, во всяком случае, в первые годы. Здесь ни у кого не бывало отпусков, мужчины работали без перерыва круглый год. Только несчастный случай на работе давал им передышку — и то если на предприятии была на этот

---

[163] Примечания: 163

* тротуарами.

случай страховка, — и они отдыхали в больнице или в кабинетах врачей. Дядя Эрнест, например, когда ему стало невмоготу, решил, как он выразился, «взять страховку» и собственноручно срезал себе фуганком слой мяса с ладони. Женщины, в том числе Катрин Кормери, работали непрерывно, ибо отдых означал для всех более скудные трапезы. Потеря работы была катастрофой, которой боялись больше всего на свете, ибо страховки от нее не существовало. Поэтому все эти работяги, в семье Пьера, как и в семье Жака, такие мирные и покладистые в повседневной жизни, становились расистами, как только дело касалось работы, и обвиняли по очереди итальянцев, испанцев, евреев, арабов и весь белый свет в том, что у них крадут работу, — настроение, разумеется, огорчительное для теоретиков пролетарской солидарности, однако по-человечески вполне понятное и простительное. Эти странные националисты оспаривали у других народов не мировое господство и не богатство, а право на рабство. Работа была здесь не гражданской добродетелью, а необходимостью, которая, давая возможность жить, приближала смерть.

Во время жестокой летней жары, когда из столичного порта отплывали один за другим

переполненные пароходы, увозя чиновников и состоятельных людей за море, к благотворному «французскому воздуху» (возвращаясь, они рассказывали невероятные истории про зеленые луга и реки, полноводные даже в августе), в жизни бедных кварталов не менялось ровно ничего, и, в отличие от опустевшего центра, они выглядели летом еще более многолюдными из-за огромного количества хлынувших на улицу детей[164].

Для Пьера и Жака, слонявшихся по раскаленным улицам в дырявых парусиновых тапочках, старых майках и коротких штанах, каникулы — это была прежде всего жара. Дожди не шли с апреля, в лучшем случае, с мая. За все эти недели и месяцы солнце, все более горячее и беспощадное, успевало иссушить, а потом раскалить и сжечь штукатурку и краски на стенах домов, испепелить черепицу и камни, дробя их в мелкую пыль, которую подхватывал ветер и покрывал ею тротуары, витрины лавок и листья деревьев. В июле весь квартал превращался в серо-желтый[165] каменный лабиринт, улицы

[164] Примечания: 164

[a] выше — игрушки, карусель, полезные подарки.

[165] Примечания: 165

[b] рыжий.

днем были пустынны, ставни в домах наглухо закрыты, и над всем этим безжалостно царило лютое солнце, валя с ног кошек и собак на порогах домов и заставляя все живое красться вдоль стен, чтобы укрыться от его лучей. В августе солнце тонуло в серой пакле тяжелого от жары неба, гнетущего, влажного, с которого лился рассеянный беловатый свет, невыносимый для глаз и уничтожавший в городе последние следы красок. В бочарных мастерских молотки стучали глуше, люди то и дело прерывали работу, чтобы окатить голову и потную спину холодной водой из колонки[166]. В кварталах бутылки с водой, реже — с вином, стояли обернутыми в мокрые тряпки. Бабушка ходила по темным комнатам босиком, в одной длинной рубашке, машинально обмахиваясь соломенным веером: она работала по утрам, затаскивала Жака в кровать на сиесту и дожидалась первой вечерней прохлады, чтобы снова приняться за работу. И так неделями лето и его жертвы томились под грузным раскаленным небом, пока из памяти не изглаживались последние воспоминания о прохладе и зимних дождях, как будто на земле не существовало ни снега, ни

[166] Примечания: 166

[c] Саблет? другие летние развлечения.

ветра, ни журчащих вод и она всегда, от сотворения мира до этих сентябрьских дней, была лишь огромной каменной глыбой, безводной и голой, источенной узкими душными лабиринтами, где медленно двигались потные одурманенные люди с остановившимся взглядом. А потом напряженное до судороги небо вдруг разверзалось. Первый сентябрьский ливень, бурный, щедрый, затоплял город. Начинали блестеть улицы, листья фикусов, электрические провода и трамвайные рельсы. Через обступавшие город холмы с далеких полей прилетал запах влажной земли, неся пленникам лета весть о просторе и свободе. Дети бросались на улицу, носились в легкой одежде под дождем, с восторгом шлепали по широким бурным ручьям, вставали в круг в большие лужи и, обняв друг друга за плечи, с криком и смехом подставляя дождю запрокинутые лица, ритмично топали, как виноделы, давя свежий урожай и разбрызгивая грязную воду, пьянившую сильнее вина.

О да, жара была ужасна, и люди нередко сходили от нее с ума, они были взвинчены, но не имели ни сил, ни энергии, чтобы кричать, ссориться или драться, и нервозность нарастала вместе с жарой, пока не прорывалась наружу в каком-нибудь желтом унылом уголке города, как в тот день, когда

на Лионской улице, почти на границе арабского района под названием Марабут, возле красного глиняного холма, где было старое кладбище, Жак вдруг увидел, как из пыльной мавританской парикмахерской вышел араб с бритой головой, одетый в голубую спецовку, и сделал несколько шагов по тротуару, наклонясь вперед и как-то неестественно запрокинув голову. Это и в самом деле было неестественно. Парикмахер, брея его, вдруг впал в безумие и, взмахнув длинной бритвой, полоснул по подставленному горлу: лезвие вошло так мягко, что араб не почувствовал боли, а только удушье от хлынувшей крови, он выбежал на улицу, переваливаясь, как недорезанная утка, а парикмахер, мгновенно скрученный клиентами, надсадно кричал — как кричала сама жара в эти нескончаемые летние дни.

Обрушившаяся с небес лавина воды мощными струями смывала летнюю пыль с деревьев, крыш, тротуаров и стен. Мутные реки грозно бурлили в водостоках, прорывали чуть ли не каждый год канализацию, и тогда вода заливала мостовые, раздаваясь на пути машин и трамваев двумя широко очерченными желтыми крыльями. Даже море в порту и на пляжах становилось грязным. Потом снова выходило солнце, и с первыми его

лучами весь город начинал тихо дымиться. Жара могла вернуться, но ее царство кончилось. Дышалось уже легче, небо становилось выше, и, несмотря на всю тяжесть солнца, в дрожащем воздухе уже таилось предчувствие сырости, близкой осени и начала занятий. «Лето длится слишком долго», — говорила бабушка и облегченно вздыхала, когда начинались дожди и Жак отправлялся в лицей: от жары она становилась раздражительной, и ее нервировало, что Жак, изнывая от скуки, целыми днями слоняется по комнатам.

К тому же она не могла взять в толк, почему одно из четырех времен года должно быть целиком посвящено безделью. «У меня никогда не бывало каникул», — говорила она, и это было чистой правдой, потому что она не знала ни школы, ни досуга и все детство трудилась не покладая рук. Ради будущей выгоды она готова была терпеть, что ее внук пока не приносит в дом денег. Но с первого же дня каникул мысль о трех пропащих месяцах не давала ей покоя, и, когда Жак перешел в третий класс[167], она сочла, что пора положить этому конец. «Летом будешь

[167] Примечания: 167

[1] Во французских лицеях выпускной класс считается первым, предпоследний вторым и т. д. — *Примеч. пер.*

работать, — объявила она Жаку в конце учебного года. — Нельзя столько времени болтаться без дела»[168]. В отличие от нее, Жак считал, что дел у него полно — он купался, ездил на Кубу, занимался спортом, шатался по улицам Белькура, читал комиксы, дешевые романы, «Альманах Вермо» и неисчерпаемый каталог Оружейной мануфактуры Сент-Этьена[169]. Не говоря уже о магазинах и домашних поручениях, которыми нагружала его бабушка. Но для нее все это как раз и называлось болтаться без дела, поскольку денег в дом он не приносил и не был занят учебой, как в течение всего года. Эта вопиющая праздность жгла ее адским пламенем. Самым простым выходом было найти ему работу.

Однако это оказалось не так просто. Разумеется, газеты регулярно печатали объявления, где предлагались места рассыльных или помощников продавца. Мадам Берто, хозяйка молочной (в ее магазине, расположенном по соседству с парикмахерской, всегда стоял запах сливочного масла, не привычный для тех, кто всегда обходился растительным), читала их бабушке. Но всем

[168] Примечания: 168

[a] вмешательство матери: «Он устанет».

[169] Примечания: 169

[b] чтение — раньше? верхние кварталы?

требовались, как правило, юноши не моложе пятнадцати лет, и тут, чтобы соврать, нужно было большое бесстыдство — Жак выглядел маленьким даже для своих тринадцати. К тому же все стремились получить работника, который связал бы с их предприятием свою судьбу. Первые же наниматели, к которым бабушка (снарядившись по полной программе, включая и пресловутый платок) повела Жака, сочли его слишком юным или просто наотрез отказались брать человека на два месяца. «Значит, надо сказать, что ты у них останешься», — сказала бабушка. — «Но это же неправда!» — «Ничего. Тебе поверят». Но Жака не волновало, поверят ему или нет. Просто ему казалось, что такая ложь застрянет у него в горле. Конечно, он не раз врал дома, чтобы избежать наказания или прикарманить два франка, но чаще просто ради удовольствия наплести что-нибудь занятное или похвастаться. Но если с близкими ложь казалась ему мелким грешком, то с посторонними она была преступлением. Он смутно чувствовал, что тем, кого любишь, нельзя лгать в серьезных вещах, иначе невозможно будет дальше жить с ними и продолжать их любить. Предприниматели могли узнать о нем только то, что им скажут, и вранье в этом случае стано-

вилось настоящей ложью. «Пошли», — сказала бабушка, повязывая платок, когда мадам Берто сообщила ей однажды, что в скобяной лавке в районе Аги требуется служащий для сортировки товара. Лавка находилась на одном из подъемов, ведущих к центру города; июльское солнце накаляло узкую улицу, усиливая запах мочи и гудрона. Магазин располагался на первом этаже: он был темный и узкий, разделенный к тому же пополам длинным прилавком, где лежали образцы замков и разных железок, а вдоль стен тянулись ряды выдвижных ящичков с таинственными этикетками. У входа над прилавком возвышалась стальная кованая решетка с окошечком для кассира. Мечтательная краснолицая дама, сидевшая за кассой, предложила бабушке подняться в контору, на второй этаж. Деревянная лестница в глубине лавки привела их в длинную комнату точно такой же планировки, где пятеро или шестеро служащих, мужчин и женщин, сидели вокруг большого стола. Сбоку находилась дверь в кабинет патрона.

В кабинете нечем было дышать, хозяин сидел в одной рубашке с расстегнутым воротом[170].

---

[170] Примечания: 170

[a] пуговица на воротнике, приставной воротничок.

Крохотное окошко за его спиной выходило во двор, куда солнце не проникало, хотя было два часа дня. Хозяин, низенький и толстый, страдал одышкой и сидел, заложив большие пальцы за широкие голубые подтяжки. Из полумрака, в котором трудно было разглядеть лицо, он хриплым задыхающимся голосом предложил бабушке сесть. Жак принюхивался к запаху металла, царившему здесь повсюду. Он решил, что неподвижность хозяина означает недоверие, и у него задрожали ноги при мысли о том, что придется лгать этому могущественному и грозному человеку. Но бабушка дрожать и не думала. Жаку скоро пятнадцать, пора становиться на ноги, надо браться за дело не откладывая. По мнению хозяина, на пятнадцать лет он не выглядел, впрочем, если мальчик не глуп… кстати, а есть у него свидетельство об окончании школы? Нет, у него стипендия. Какая стипендия? Для обучения в лицее. Так он учится в лицее? В каком классе? В третьем. И что же, он бросает лицей? Хозяин сидел по-прежнему неподвижно, но теперь можно было рассмотреть лицо: его круглые мутноватые глаза скользили от бабушки к внуку. Под его взглядом Жак содрогался от страха. «Да, — сказала бабушка, — Мы слишком нуждаемся». Патрон

чуть заметно расслабился. «Жалко, — сказал он, — если мальчик способный. Но хорошего положения можно добиться и в коммерции». Путь к хорошему положению начинался, надо сказать, довольно скромно. Сто пятьдесят франков в месяц за восемь часов ежедневного присутствия. Жак может начать прямо завтра. «Вот видишь, — сказала бабушка. — Он поверил». — «А что я ему скажу, когда буду уходить?» — «Предоставь это мне». — «Хорошо», — ответил Жак, смирившись. Он смотрел на летнее небо и думал о запахе металла, о темной конторе, о том, что придется рано вставать и что каникулы, не успев начаться, уже закончились.

Два года подряд Жак летом работал. Сначала в скобяной лавке, потом у портового маклера. И каждый раз с дрожью ждал пятнадцатого сентября, когда ему предстояло объявить о своем уходе[171].

Каникулы действительно закончились, хотя лето осталось таким же, как прежде, со своей обычной жарой и скукой. Но для Жака было потеряно то, что он больше всего любил, — небо, простор, гудение жары. Теперь он проводил дни

---

[171] Примечания: 171

[1] Абзац обведен автором.

не в желтом нищем квартале, а в центре, где дорогой цемент, заменявший здесь дешевую штукатурку, делал дома серыми, что выглядело внушительно, но уныло. В восемь часов, когда Жак переступал порог лавки, где пахло металлом и холодными стенами, свет для него угасал и небо исчезало. Он здоровался с кассиршей и поднимался на второй этаж в большую, плохо освещенную контору. За центральным столом для него места не было. Там сидел старый бухгалтер с усами, желтыми от самокруток, которые он целый день не выпускал изо рта, его помощник лет тридцати, наполовину лысый, с бычьим лицом и торсом, двое служащих помоложе (один, худой, темноволосый, мускулистый, с красивым правильным профилем, всегда приходил в мокрых, прилипших к телу рубашках, распространяя приятный запах моря: каждое утро, прежде чем похоронить себя на весь день в конторе, он ходил на мол купаться; второй был толстый и веселый, и ему стоило больших усилий держать в узде свой жизнелюбивый нрав) и, наконец, чем-то похожая на лошадь мадам Раслен, секретарша хозяина, довольно привлекательная в своих неизменно розовых летних платьях, смотревшая на весь белый свет суровым неприступным

взглядом, — впятером они занимали весь стол, загромоздив его папками, бухгалтерскими книгами и пишущей машинкой. Для Жака поставили стул возле кабинета хозяина, и он сидел там в ожидании какого-нибудь дела: чаще всего ему поручали разложить счета или письма по ящичкам картотеки, расположенной по обе стороны от окна, — в первые дни Жаку нравилось выдвигать эти ящички и возиться с ними, нравился запах бумаги и клея, казавшийся ему восхитительным, пока не превратился для него навсегда в запах скуки, — или давали на проверку какие-нибудь подсчеты, и он проверял их, держа бумаги на коленях, а иногда помощник бухгалтера просил его «пройтись» вместе с ним по длинным колонкам цифр, и Жак, стоя рядом, добросовестно делал пометки против каждой цифры, пока тот читал их унылым полушепотом, чтобы не мешать остальным. Из окна видна была улица и дома напротив, но не было видно неба. Иногда, но не часто, Жака посылали за какими-нибудь конторскими принадлежностями в соседний писчебумажный магазин или на почту — отправить срочный перевод. Почтамт находился в двухстах метрах, на широком бульваре, тянувшемся от порта до верхних кварталов города. Здесь Жак

вновь обретал простор и солнце. Сам почтамт помещался в огромной ротонде с тремя большими дверями и широким куполом, через который струился свет[172]. Однако, к несчастью, Жаку чаще всего поручали отправить корреспонденцию в конце рабочего дня, по дороге домой, и это было дополнительным мучением, потому что свет уже начинал бледнеть и приходилось бежать в сумерках на переполненную почту, стоять в очереди к окошечку, и все это только удлиняло его рабочий день. Практически все долгое лето сводилось для Жака к череде темных, тусклых дней, занятых скучными мелочами. «Нельзя болтаться без дела», — говорила бабушка. А у Жака было ощущение, что в этой конторе он как раз и болтается без дела. Он не отказывался работать, хотя ничто не могло ему заменить моря или поездок на Кубу. Но настоящей работой была для него, например, работа в бочарне, где требовалась сила, сноровка, четкие действия легких, но твердых рук, а потом налицо был результат этого труда — новая, ладная бочка без единого зазора, и рабочий мог на нее полюбоваться.

А работа в конторе возникала из пустоты и в

[172] Примечания: 172

[a] почтовые операции?

пустоту уходила. Продавать и покупать — все вертелось вокруг этих скучных обыденных действий. И хотя Жак вырос в нищете, только здесь, в конторе, он впервые столкнулся с пошлостью и горевал по утраченному свету. Сослуживцы не были виноваты в том, что он задыхался. Они были к нему добры, не помыкали им, и даже суровая мадам Раслен иногда ему улыбалась. Между собой они говорили мало, со свойственной алжирцам смесью веселой сердечности и безразличия. Когда появлялся хозяин, приходивший в контору на пятнадцать минут позже, чем они все, или когда он выходил из кабинета, чтобы сделать распоряжения или проверить какой-нибудь счет (для серьезных дел он вызывал старого бухгалтера или кого-то еще из служащих к себе в кабинет), характеры проявлялись отчетливее, как будто все эти люди — старый бухгалтер, грубоватый и независимый, мадам Раслен, погруженная в свои суровые мечты, и помощник бухгалтера, напротив, угодливый и подобострастный, — обретали лицо только в соприкосновении с властью. В остальное время они замыкались в собственной скорлупе, и Жак ждал, сидя на стуле, когда ему дадут повод для бессмысленной суеты, которую

бабушка называла работой[173].

Когда ему становилось невмоготу и он уже буквально закипал на своем стуле, он выходил во двор и уединялся в уборной без сиденья, с цементными стенами, где было темно и стоял едкий запах мочи. Здесь, в темноте, Жак прикрывал глаза и, вдыхая привычный запах, мечтал. Что-то слепое, темное шевелилось в глубине его существа, на уровне инстинкта и крови. Иногда ему вспоминались ноги мадам Раслен: однажды он уронил около нее коробку со скрепками, присел на корточки, чтобы их собрать, и, подняв голову, увидел перед собой чуть раздвинутые под платьем колени и ляжки в кружевном белье. Он никогда прежде не видел, что носят женщины под юбкой, и от этого секундного видения у него пересохло во рту и начался сумасшедший озноб. Перед ним приоткрылась тайна, которую никогда, несмотря на весь свой опыт, он так и не исчерпал для себя до конца.

Дважды в день, в двенадцать и в шесть, Жак выбегал из конторы, мчался по пологой улице вниз и вскакивал в набитый трамвай, облепленный гроздьями висевших на подножках пассажиров.

---

[173] Примечания: 173

[a] Летом, после окончания лицея, уроки — тупое лицо перед ним.

Притиснутые друг к другу, они молча стояли в тяжелой духоте, мечтая добраться наконец до дома, и безропотно потели, смирившись с этой жизнью, делившейся между тупой работой, долгими поездками в переполненных трамваях и мгновенно приходившим сном. У Жака сжималось сердце, когда он смотрел на них вечерами. До сих пор он знал лишь богатства и радости нищеты. Но духота, скука, усталость открыли ему ее проклятие, проклятие труда, до бреда бессмысленного и бесконечно однообразного, от которого дни делаются длинными, а жизнь короткой.

Следующее лето, когда он работал у портового маклера, было куда приятнее, хотя бы уже потому, что окна конторы выходили на бульвар Фронде-Мер, но главное — ему приходилось много бывать в порту. Он поднимался на иностранные пароходы, которые маклер, красивый румяный старик с вьющимися волосами, представлял в разных учреждениях. Жак относил судовые документы в контору, где их переводили, а примерно через неделю он уже и сам начал переводить с английского перечни товаров и коносаменты, а потом передавал их таможенным властям или в крупные фирмы, занимавшиеся импортом. За этими бумагами он чуть ли не каждый день

отправлялся в торговый порт. Жара превращала крутые приморские улицы в пустыню. Массивные чугунные поручни вдоль уличных спусков накалялись так, что невозможно было дотронуться. Причалы были безлюдны, и только вокруг недавно прибывших кораблей сновали голые до пояса загорелые докеры: на них были голубые штаны, закатанные на икрах, а на голове — пустые мешки, которые свисали сзади до поясницы, защищая плечи и спину, когда приходилось носить цемент, уголь или ящики с острыми краями. Докеры поднимались по сходням на палубу или входили прямо в недра корабля через открытую дверь трюма, быстро пробегая по широким мосткам, перекинутым на причал. Сквозь запахи пыльного, солнечного причала или горячей палубы, где плавился гудрон и все металлические поверхности были раскалены, Жак различал особый запах каждого судна. На кораблях из Дакара или Бразилии витал аромат кофе и пряностей, норвежские корабли пахли деревом, немецкие — маслом, английские — металлом. Ж. поднимался по сходням и показывал морякам, не понимавшим по-французски, удостоверение маклера. Потом его вели по длинным коридорам, где даже темнота обдавала жаром, к кому-нибудь

из командного состава или даже к самому капитану[174]. По пути он жадно заглядывал в маленькие каюты, тесные и голые, вмещавшие лишь самые необходимые для мужской жизни вещи, и с тех пор предпочитал их любым роскошным покоям. Жака встречали приветливо, потому что он сам приветливо улыбался: ему нравились эти грубоватые мужские лица и это выражение глаз, которое придавала им всем одинокая жизнь, и он не скрывал своего восхищения. Иногда ему задавали вопросы, если кто-то из моряков хоть немного знал французский. Потом он возвращался, довольный, на раскаленный причал, к обжигающим поручням и конторской работе. Однако эта беготня по жаре его изматывала, он спал тяжелым сном и к сентябрю стал худым и нервным.

Он радовался приближению двенадцатичасовых занятий в лицее, и в то же время его все больше мучила необходимость объявить на работе о своем уходе. Труднее всего пришлось в скобяной лавке. Жак предпочел бы трусливо отсидеться дома, чтобы бабушка сама пошла туда и как-нибудь объяснилась. Но бабушка считала, что

---

[174] Примечания: 174

[a] Несчастный случай с докером? Посмотреть в дневнике.

объясняться вообще не нужно: надо просто взять свое жалованье и больше не приходить. Но, хотя Жак готов был переложить тяжесть объяснения на бабушку, ибо это она была виновата в том, что пришлось лгать, он возмутился, сам не понимая до конца почему, при мысли о столь малодушном бегстве, к тому же у него имелось и практическое возражение: «Хозяин просто пришлет кого-нибудь к нам домой». — «Ты прав, — согласилась бабушка. — Что ж, тогда скажи ему, что ты переходишь работать к своему дяде». Когда Жак, терзаясь адскими муками, уже собрался уходить, бабушка прибавила: «Главное, возьми сначала деньги. А объясняться будешь потом». К концу дня хозяин начал по очереди вызывать всех служащих в свою контору и выдавать им жалованье. «Получай, малыш», — сказал он Жаку, вручая ему конверт. Жак нерешительно протянул руку, и хозяин улыбнулся: «У тебя отлично идет дело. Можешь передать это родителям». И тут уж Жак не выдержал, он начал объяснять, что больше работать не сможет. Хозяин в изумлении застыл с протянутым конвертом в руке. «Почему?» Надо было соврать, но ложь не шла с языка. Он стоял молча, с таким отчаянием на лице, что хозяин все понял. «Ты возвращаешься в лицей?» — «Да», —

ответил Жак, и вдруг отчаяние и страх сменились таким облегчением, что у него слезы выступили на глазах. «И ты знал это, когда пришел сюда! И бабушка твоя знала!» Жак мог только кивнуть в ответ. Теперь кабинет сотрясался от раскатов хозяйского голоса. Они повели себя непорядочно, а он, хозяин, этого не выносит. Да знает ли Жак, что он вправе не заплатить ему ничего, и был бы дурак, если бы заплатил, нет, он не станет ему платить, пусть бабушка попробует сюда явиться, уж он с ней поговорит по душам, если бы она сказала правду, он, может быть, все равно взял бы его, но это вранье… «Ах, мальчик должен бросить лицей, мы слишком нуждаемся», — а он-то уши развесил… «Это правда», — вдруг сказал Жак. — «Что правда?» — «Что мы нуждаемся». Жак замолчал, и за него, задержав на нем взгляд, медленно договорил хозяин: «И поэтому вы так поступили, наплели мне эту чушь?» Жак, стиснув зубы, смотрел на свои ботинки. Последовала бесконечно долгая пауза. Потом хозяин взял со стола конверт и снова протянул ему: «Возьми свои деньги. И убирайся». — «Нет», — сказал Жак. Хозяин засунул ему конверт в карман: «Уходи». На улице Жак бросился бежать, плача и вцепившись руками в воротник куртки, чтобы не прикасаться

к деньгам, которые жгли ему карман.

Лгать, ради того чтобы лишиться каникул, работать вдали от моря и солнца, которые он так любил, и снова лгать, чтобы вернуться в лицей и там опять целыми днями работать, — эта несправедливость мучила его нестерпимо. Потому что тяжелее всего была не столько ложь, на которую он в итоге оказался неспособен — всегда готовый соврать ради удовольствия, но не по необходимости, — сколько это потерянное счастье, эти отнятые у него дни летней свободы и света, ибо без них год превращался в одну сплошную череду ранних вставаний и торопливых однообразных недель. Всю царскую роскошь, какую таила в себе его нищая жизнь, все бесценные сокровища, которыми он так самозабвенно наслаждался, пришлось отдать, чтобы заработать деньги, не стоившие и миллионной доли этих богатств. И все же он понимал, что должен был на это пойти, и даже в разгар своего внутреннего мятежа был горд тем, что это сделал. Потому что свою единственную награду за потерянное лето, принесенное в жертву унизительной лжи, он получил, войдя в столовую в день первой зарплаты: бабушка чистила картошку, бросая ее в миску с водой, дядя Эрнест искал блох у Брийяна,

терпеливо стоявшего у него между колен, а мать только что вернулась и развязывала на буфете небольшой узелок с грязным бельем, взятым домой для стирки; Жак вышел на середину комнаты и молча положил на стол стофранковую бумажку и сверху — тяжелые монеты, которые всю дорогу держал в руке. Ни слова не говоря, бабушка пододвинула ему монету в 20 франков и забрала остальное. Она тронула за плечо Катрин Кормери, показала ей деньги: «Это твой сын». — «Да», — ответила мать, и ее печальные глаза на миг с нежностью остановились на нем. Дядя кивнул, придерживая Брийяна, который уже решил, что его пытка закончилась. «Хорошо, хорошо, — сказал он. — Ты мужчина».

Да, он стал мужчиной, начал понемногу платить свои долги, и мысль о том, что он хоть немного облегчил нужду этого дома, наполняла его какой-то злой гордостью, которая приходит к мужчинам, когда они начинают чувствовать себя свободными и не обязанными никому подчиняться. И когда осенью он вернулся в лицей и вступил во двор второго класса, он уже не был тем растерянным маленьким мальчиком, который покинул на рассвете Белькур, пошатываясь в подбитых гвоздями ботинках и трепеща перед

встречей с новым неведомым миром, и взгляд его, обращенный на одноклассников, отчасти утратил прежнюю невинность. Да, многое уже к тому времени стояло между ним и ребенком, каким он когда-то был. И настал день, когда он, всегда покорно терпевший, что бабушка его била, вырвал у нее из рук плеть, обезумев вдруг от злости и гнева, и был настолько близок к тому, чтобы ударить эту седую женщину, чьи светлые холодные глаза выводили его из себя, что бабушка поняла это, попятилась и закрылась у себя в комнате, охая и причитая, что вырастила себе на горе детей без стыда и совести, но уже зная, что больше никогда не поднимет руку на Жака, и этого действительно больше никогда не было, потому что ребенок умер в худом мускулистом подростке с взъерошенными волосами и разъяренным взглядом, который работал все лето, чтобы принести домой деньги, был только что избран первым вратарем лицейской футбольной команды и три дня назад, впервые в жизни, отведал, обмирая, вкус девичьих губ.

2. Неведомый самому себе

О, да, все так и было, такова была его детская жизнь, такова была жизнь на нищем острове его квартала, подчиненная голой нужде, в невежественной, полуглухой семье, в то время как в нем самом кипела мальчишеская кровь, и он рос с ненасытной любовью к жизни, с упрямым жадным умом, в неустанном упоении земными радостями, порой нарушаемом внезапными вторжениями незнакомого мира, от которых он терялся, но ненадолго, стремясь понять, узнать, освоить этот новый для него мир, и действительно осваивал его, потому что подступал к нему открыто и прямо, не пытаясь проникнуть в него окольным путем, полный готовности и доброй воли, но не опускаясь до заискивания, и, в сущности, его никогда не покидало спокойное знание, уверенность, да, именно уверенность, что он достигнет всего, чего захочет, и что для него никогда не будет ничего невозможного в земных делах, но только в земных, и он незаметно для себя привыкал (был приучен своим голым детством) чувствовать себя на месте везде, потому что ему не нужно было никакое место, а

только радость, свободные люди, сила и все, что есть в жизни прекрасного и загадочного и что купить нельзя. Благодаря все той же бедности, он научился со временем получать деньги, никогда о них не прося и не делаясь их рабом, и теперь, в свои сорок лет, царя над столькими вещами в жизни, по-прежнему был глубоко убежден, что не стоит и последнего бедняка, а уж по сравнению со своей матерью — просто ничто. Да, так он жил, играя на ветру, на море, на улице, под тяжестью лета и зимних дождей, без традиций и без отца — хотя отца он вдруг обрел на целый год, как раз тогда, когда это было нужнее всего, — и собирая по крохам среди людей и обстоятельств [][175] необходимое знание, чтобы выстроить для себя хоть какую-то систему поведения (которая годилась в тот момент и в тех обстоятельствах, но оказалась недостаточной потом, перед раковой опухолью мира) и создать свою собственную традицию.

Но только ли это было в его жизни — эти игры, события, эта отвага, этот пыл, семья, керосиновая лампа, темная лестница, пальмовые ветки на ветру, рождение и крещение в море, и наконец,

---

[175] Примечания: 175

[1] Неразборчивое слово.

безрадостные трудовые каникулы? Все это было, да, но было еще и нечто скрытое, смутное, то, что все эти годы подспудно существовало в нем, как подземные воды, которые в лабиринтах горных пещер никогда не видели солнца и все-таки отражают какое-то бледное свечение, но откуда оно идет, непонятно, быть может, из раскаленного центра земли, просачиваясь по каменным капиллярам в черный воздух неведомых гротов и питая чахлые [угнетенные] растения, выживающие там, где жизнь кажется невозможной. И это слепое, никогда не прекращавшееся в нем движение, этот черный огонь внутри его существа, подобный пожару в недрах торфяных болот, когда в глубине бушует незримое пламя, меняя снаружи рисунок трещин и очертания зыбких травянистых островков, так что вся топкая поверхность повторяет внутреннее движение, таящееся под торфом, — из этих незримых толчков по сей день рождались в нем самые неистовые и ужасные из его желаний, его опустошительные тревоги и самая плодотворная тоска, или внезапная потребность ограничить себя лишь насущно необходимым и жажда быть ничем — да, это темное брожение в нем всегда было связано с огромной страной, чью гнетущую

тяжесть он чувствовал еще ребенком, страной, где по одну сторону лежало безбрежное море, по другую — нескончаемые пространства гор, а между ними — вечная опасность, не исчезавшая ни на миг, о которой никто не говорил, потому что к ней все привыкли, но которую Жак ощущал в Бирмандресе, на маленькой ферме со сводчатыми потолками и побеленными известью стенами, когда тетя проходила перед сном по всем комнатам, проверяя, задвинуты ли огромные засовы на толстых деревянных ставнях, и он чувствовал себя заброшенным в этот край, как первый переселенец или первый завоеватель, высадившийся на земле, где до сих пор правил закон силы и правосудие ввели лишь затем, чтобы жестоко карать то, чего не могли предотвратить нравы, а вокруг жил народ, одновременно далекий и близкий, внушавший симпатию и тревогу, с которым они бок о бок проводили весь день, и бывало, что зарождалась дружба, но наступал вечер, и эти люди скрывались в своих домах, куда французы не допускались никогда, и сидели там, запершись вместе с женами, которых никто не видел, а если и видели на улице, то не знали, кто эти незнакомки с большими чувственными глазами, прятавшие свои лица, этих людей было так много

в бедных кварталах, так много, что от одного их количества, несмотря на всю их покорность и усталость, в воздухе витала незримая угроза, особенно вечерами, когда вдруг вспыхивала драка между арабом и французом, вспыхивала точно так же, как могла бы вспыхнуть между двумя французами или двумя арабами, но воспринималась совсем иначе, и все арабы из соседних домов, в линялых комбинезонах или заношенных джелабах, медленно сходились со всех сторон непрерывным потоком, и наступал момент, когда их плотная масса выталкивала — не злобно, а просто в силу закона своего движения — нескольких случайно затесавшихся в нее французов, подошедших посмотреть на драку, а тот француз, который дрался, на миг отступив, вдруг видел за спиной у противника огромную толпу с мрачными, суровыми лицами — от одного этого зрелища можно было лишиться всякого мужества, но тот, кто вырос в этой стране, знал, что только мужество позволяет здесь жить, поэтому он в упор смотрел на грозную толпу, не таившую, впрочем, никакой реальной угрозы, кроме своего присутствия и непроизвольного движения, и чаще всего именно эта толпа удерживала яростно дерущегося араба и старалась

увести его до прихода полицейских, которых кто-то всегда успевал вызвать: они появлялись мгновенно, скручивали, не разбираясь, обоих дерущихся и волокли мимо окон Жака в участок. «Бедняги», — говорила мать, глядя, как их ведут, крепко держа за локти и толкая в спину, а после их ухода на улице долго еще витал какой-то дух опасности, насилия, страха, и у Жака пересыхало в горле от тревоги перед чем-то неведомым. Да, эта ночь у него внутри, в которую уходили темные, спутанные корни, привязывавшие его к этой прекрасной и страшной земле, к ее жгучим дням и коротким, пронзающим душу вечерам, была как бы второй его жизнью, быть может, более подлинной, хотя и скрытой под внешней обыденностью первой: она складывалась из череды неясных желаний и сильных, непередаваемых ощущений, это был запах школы и конюшен на соседней улице, запах стирки на руках матери, жасмина и жимолости в верхних кварталах, типографской краски в книгах и словарях, терпкое зловоние уборных дома и в скобяной лавке, запах больших и холодных классных комнат, куда он иногда заходил один до или после уроков, тепло нескольких любимых друзей, запах нагретой шерсти и мочи, сопровождавший Дидье, или

аромат одеколона, которым щедро поливала длинного Маркони его мать, и Жака тянуло придвинуться к нему поближе на классной скамье, благоухание тюбика губной помады, добытого Пьером у одной из его теток, — они нюхали его все вместе, встревоженные и возбужденные, как псы, бегущие к дому, где побывала течная сучка, воображая, будто женщина и есть это облако сладковатых ароматов бергамота и крема, приносивших в их грубый мир крика, пота и пыли весть о существовании мира изысканного[176] и утонченного, полного невыразимого соблазна, и от него не могли защитить сальности, которые они отпускали, склоняясь над тюбиком, — и любовь к человеческим телам, к их красоте, с детства приводившей его в восторг, так что он смеялся от счастья на пляжах, к их теплу, к которому он всегда тянулся, непроизвольно, как зверек, не для того, чтобы обладать ими, этого он не мог и не умел — просто ему хотелось вступить в их сияние, прислониться плечом к плечу товарища с чувством полного покоя и надежности, и он едва не терял сознание, когда в трамвайной давке женская рука прикасалась к его руке дольше, чем

[176] Примечания: 176

[a] добавить в список.

на секунду, — и желание, да, жить, жить еще, глубже окунуться в тепло этого мира, тяга к тому, чего он, сам того не зная, ждал от матери и не получал или не осмеливался получить и что чувствовал возле Брийяна, когда лежал рядом с ним на солнце, вдыхая острый запах собачьей шерсти, или когда встречал другие сильные животные запахи, пронизанные для него нестерпимым жаром жизни, к которому его влекло неодолимо.

Из этой ночи рождался и его ненасытный пыл, безумная страсть к жизни, которая не ослабевала в нем никогда и до сих пор помогала ему себя сохранить, лишь делая более горьким — при встрече с семьей после долгой разлуки или перед картинами детства — внезапное и ужасное чувство, что молодость уходит, как это было с женщиной, которую он любил, о, да, он любил ее, любил всем сердцем, всем телом, да, влечение к ней было головокружительным, и когда он отрывался от нее с безудержным немым криком в миг наслаждения, мир вновь начинал пылать, он любил ее за красоту и за необузданную любовь к жизни, отчаянную и беззаветную, она не могла, не могла смириться с тем, что время проходит, хотя знала, что оно проходит в этот самый миг, не желала, чтобы о ней сказали когда-нибудь,

что она еще молода, она хотела быть по-настоящему молодой, всегда, и разрыдалась однажды, когда он шутливо сказал, что молодость уходит и жизнь движется к концу: «О, нет, нет, — повторяла она сквозь слезы, — я так люблю любовь», она, такая умная и незаурядная, может быть, именно потому, что была действительно умна и незаурядна, отказывалась принимать мир таким, какой он есть. Как тогда, во время недолгой поездки в страну, где она родилась, когда потянулись потусторонние визиты к тетушкам, о которых ей говорили: «Ты видишь их в последний раз», их лица, их фигуры, их мощи — все это было для нее невыносимо, ей хотелось с криком броситься прочь, или эти семейные обеды, когда на стол стелили скатерть, вышитую ее давно умершей прабабкой, забытой всеми, кроме нее, а она думала о юности этой прабабки, о том, как та в свое время наслаждалась жизнью, и любила жизнь, и была хороша собой, как и она сама в блеске молодости, и все делали ей комплименты за этим столом, а вокруг висели портреты молодых красивых женщин, тех самых, что сейчас делали ей комплименты, будучи уже дряхлыми старухами. Все ее существо восставало против этого, ей хотелось бежать, бежать в такой край, где никто не

стареет и не умирает, где красота вечно остается нетленной, а жизнь — первозданной и ослепительной, в край, которого не существует на свете; она плакала, вернувшись, в его объятиях, и он любил ее без памяти.

И сам он сегодня, быть может, даже острее, чем она, — поскольку родился на земле без предков и памяти, где исчезновение тех, кто жил до него, было еще более полным и где старость не находила прибежища в меланхолии воспоминаний, как это происходит в странах с [][177] цивилизацией, — чувствовал, что жизнь, молодость, люди от него ускользают, а он не может их удержать, и теперь он, как чистая страсть к жизни перед лицом неизбежной и полной смерти, как зыбкая одинокая волна, обреченная однажды разбиться, внезапно и навсегда, хранил одну лишь слепую надежду, что та неведомая сила в темной глубине его существа, которая на протяжении стольких лет поднимала его над обыденным течением дней, питала не скупясь и не изменяла ему даже в самые страшные минуты, не оставит его и впредь и с той же неиссякаемой щедростью, с какой дарила его жизни смысл, подарит ему, когда придет

---

[177] Примечания: 177

[1] Неразборчивое слово.

время, примирение со старостью и со смертью.

Приложения

Листок I

4) На корабле. Сиеста с мальчиком + война 14-го года.

* * *

5) У матери — теракт.

* * *

6) Поездка в Мондови — сиеста — колонизация.

* * *

7) У матери. Продолжение детства — он находит детство, а не отца. Узнает, что он первый человек. Мадам Лека.

* * *

«Крепко поцеловав его раза два или три, изо всех сил прижав к себе, а потом отпустив, она смотрела на него и снова обнимала, чтобы поцеловать еще раз, как будто, оценив мысленно

всю нежность (ею проявленную), сочла, что мера еще не полна, и[178]. И, сразу же отвернувшись, казалось, больше не думала о нем, как, впрочем, и ни о чем, и даже поглядывала на него порой как-то странно, точно теперь он был здесь лишним и нарушал порядок тесного мира, пустого и замкнутого, в котором она обитала».

[178] Примечания: 178

[1] Конец фразы в рукописи.

Листок II

Переселенец пишет адвокату в 1869 г.: «Чтобы Алжир выдержал лечение своих докторов, он должен быть живуч как кошка».

* * *

Деревни, окруженные рвами или укреплениями (с четырьмя башнями по углам).

* * *

Из 600 колонистов, отправленных в 1831 г., 150 умерли в палатках. Поэтому в Алжире такое количество сиротских приютов.

* * *

В Буфарике люди пахали с ружьем за спиной и хинином в кармане. «Тощий, как из Буфарика». 19 % умерло в 1839 г. Хинин продавался в кафе, как вино или виски.

* * *

Бюжо решил женить своих солдат-колонистов в Тулоне и написал мэру Тулона, чтобы тот подобрал двадцать здоровых невест. Это были «свадьбы под барабан». Но, приглядевшись, все начинают меняться невестами. Так появилась Фука.

* * *

Сначала работали все сообща. Это было нечто вроде военных колхозов.

* * *

«Региональная» колонизация. Шерага была заселена 66 семьями из Граса.

* * *

Большинство алжирских мэрий не имеет архивов.

* * *

Маонцы прибывают небольшими группами с

сундуками и с детьми. Слов на ветер не бросают. Никогда не нанимай испанца. Они создали богатство алжирского побережья.

Бирмандрес и дом Бернарды.

История [Д-ра Тоннака] первого колониста Митиджи. Ср.: Бодикур, «История колонизации Алжира», стр. 21. История Пирета, там же, стр. 50 и 51.

Листок III

10 — Сен-Бриё[179]

* * *

14 — Малан
20 — Детские игры
30 — Алжир. Отец и его смерть (+теракт)
42 — Семья
69 — Месье Жермен и Школа
91 — Мондови — Колонизация и отец

* * *

101 — Лицей
140 — Неведомый самому себе
145 — Подросток[180]

---

[179] Примечания: 179

[1] Цифры соответствуют нумерации страниц в рукописи.

[180] Примечания: 180

[1] Рукопись обрывается на стр. 144.

Листок IV

Важна и тема актерства. В самых тяжких горестях нас спасает чувство, что мы одиноки и всеми покинуты, но не до конца, ибо при этом «другие» как бы «смотрят» на нас в нашем несчастье. В этом смысле, можно иногда назвать счастливыми минуты беспредельной печали, когда чувство собственной покинутости переполняет и возвышает нас. И с этой точки зрения, счастье зачастую есть умиление собственным несчастьем.

Разительный пример — бедняки. Бог послал людям самолюбование вместе с отчаянием, как лекарство вместе с недугом[181].

* * *

В молодости я требовал от людей больше, чем они могли дать: вечной дружбы, неизменных чувств.

Теперь я научился требовать от них меньше, чем они могут дать: просто товарищества, без фраз. А их чувства, дружба, благородные поступ-

---

[181] Примечания: 181

[a] смерть бабушки.

ки сохраняют в моих глазах всю ценность чуда: чистый дар благодати.

Мари Витон: самолет

Листок V

Он был королем жизни, увенчанный ослепительными дарами, желаниями, силой, радостью, и за все это пришел просить у нее прощения, у нее, которая была покорной рабыней жизни, ничего не знала, ничего не желала, не осмеливалась желать, и однако сохранила некую истину, которую он потерял, хотя только в ней и есть оправдание жизни.

Четверги на Кубе
Тренировки, спорт
Дядя
Выпускной экзамен
болезнь.

О мать, о нежная, о дорогое дитя, ты выше моего времени, выше подмявшей тебя истории, более подлинная, чем всё, что я любил в этом мире, прости своему сыну, что он бежал от ночи твоей истины

Бабушка: деспот, но прислуживает за столом стоя.

Сын вступается за мать и бьет дядю.

Первый человек
(Заметки и планы)

Ничто не сравнится с жизнью смиренной, невежественной, упорной…

Клодель, «Обмен»

Или еще

Разговор о терроризме:

Объективно, она несет ответственность (разделяет)

Замени наречие, а то я тебя ударю.

Не перенимай у Запада самое худшее. Не говори никогда «объективно», иначе я тебя ударю.

Почему?

Твоя мать легла под поезд Алжир — Оран? (троллейбус)

Не понимаю.

Поезд взорвался, четверо детей погибли. Твоя мать ничего не сделала, чтобы этому помешать. Если, по-твоему, она объективно несет ответственность[182], значит, ты одобряешь расстрелы заложников.

Она же не знала.

---

[182] Примечания: 182

[1] разделяет.

Эта тоже не знала. Никогда больше не говори «объективно».

Признай, что есть невинные, или я убью тебя тоже.

Ты знаешь, что я могу это сделать.

Да, я видел.

* * *

[183] Жан — первый человек.

Использовать тогда Пьера как точку отсчета и дать ему прошлое, страну, семью, мораль (?). — Пьер — Дидье?

* * *

Отроческая любовь на пляже — и вечер, опускающийся на море, — и звездные ночи.

* * *

Встреча с арабом в Сент-Этьене. Братство двоих изгнанников во Франции.

---

[183] Примечания: 183

[a] Ср.: «История колонизации».

* * *

Мобилизация. Отца призвали в армию, когда он еще не видел Франции. Он увидел ее и погиб.

(Что бедная семья, такая, как моя, дала Франции.)

* * *

Последний разговор с Саддоком, когда Жак уже стал противником терроризма. Но он прячет С., ибо право убежища священно. У матери. Их разговор происходит при ней. В конце Ж. говорит: «Взгляни», — и указывает на мать. Саддок встает, подходит к ней, приложив руку к сердцу, и целует ее, кланяясь по-арабски. Жак никогда не видел, чтобы он так кланялся, потому что он из офранцуженных. «Она мне мать, — говорит он. — Моя мать умерла. Я люблю и почитаю ее, как если бы она была моей матерью».

(Она упала *из-за* террористического акта. Чувствует себя плохо.)

* * *

Или еще:

Да, я вас ненавижу. Я считаю, что честь нашего мира живет среди угнетенных, а не среди власть имущих. Они — его бесчестье. Когда, впервые за всю историю, обездоленный узнает… тогда…

До свидания, сказал Саддок.

Не уходи, тебя схватят.

Ну и пусть. Их я могу ненавидеть, и ненависть сближает меня с ними. А ты мой брат, но мы разошлись.

…

Ночью Ж. стоит на балконе… Вдали слышатся два выстрела и шум погони…

— Что там такое? — спрашивает мать.

— Ничего.

— Ох, я испугалась за тебя.

Он падает на нее…

Потом арест за укрывательство.

Относили выпекать булочнику

Два франка в толчке.

Бабушка, ее власть, энергия.

Он крал сдачу.

* * *

Чувство чести у алжирцев.

* * *

Усваивать мораль и право, значит судить о добре и зле человеческой страсти по ее последствиям. Ж. может увлекаться женщинами — но если они отнимают все время…

* * *

«Мне надоело жить, действовать, чувствовать, ради того чтобы признавать одного правым, а другого виноватым. Мне надоело соответствовать образу, который мне навязывают другие. Я принял решение о самостоятельности и требую независимости в рамках взаимозависимости».

* * *

Пьер будет художником?

* * *

Отец Жана — возчик?

* * *

После болезни Мари у П. кризис в духе Кла-

манса (я ничего не люблю…), Ж. (или Гренье) противостоит падению.

* * *

Противопоставить матери мир (самолет, самые далекие страны соединяются).

* * *

Пьер-адвокат. Причем адвокат Ивтона[184].

* * *

«Нас, таких, какие мы есть, храбрых, и гордых, и сильных… ничто не могло бы сломить, будь у нас вера, Бог. Но у нас не было ничего, нам пришлось всему учиться и жить только ради чести, а это имеет свои слабости…»

* * *

Это должна быть *в то же время* история конца целого мира — пронизанная сожалением о годах света…

---

[184] Примечания: 184

[1] Коммунист, подложивший взрывчатку на завод. Гильотинирован во время алжирской войны.

* * *

Филипп Куломбель и большая ферма в Типазе. Дружба с Жаном. Его гибель в самолете над фермой. Когда его нашли, он лежал уткнувшись лицом в щиток приборов, ручка управления вошла ему под ребро. Кровавое месиво, усыпанное осколками стекла.

* * *

Название: Кочевники. Начинается с переезда и заканчивается эвакуацией из Алжира.

* * *

Два гимна: бедной женщине и языческому миру (ум и счастье).

* * *

Все любят Пьера. Успехи и гордыня Ж. вызывают неприязнь.

* * *

Сцена линчевания: четверо арабов сброшены с

берега в Кассуре.

* * *

Его мать *есть* Христос.

* * *

Дать разные суждения о Ж., ввести, представить его через разговоры о нем и через противоречивый портрет, который из них возникает.

Образованный, спортивный, распутный, одинокий, но при этом надежный друг, злой, безупречно порядочный и т. д. и т. п.

«Никого не любит», «нет человека более великодушного», «холодный и высокомерный», «пылкий и преданный», все считают его энергичным, кроме него самого, ибо он постоянно лежит. Это должно сделать образ *крупнее*.

Он говорит: «Я начал верить в собственную безгрешность. Я был царем. Я царил над жизнью и людьми по своей прихоти (и т. д.). Однажды я осознал, что не способен любить по-настоящему, и думал, что умру от презрения к самому себе. Потом я счел, что другие тоже не любят по-настоящему и надо просто смириться с тем, что я такой же, как все.

Потом я решил, что нет, что я должен винить только себя в том, что мне не хватает душевной высоты, и мучиться из-за этого, сколько придется, пока не представится случай ее обрести.

Иначе говоря, я жду случая быть царем и отказаться от царства».

* * *

Или еще:

Невозможно жить с истиной, — «зная истину», — тот, кто «знает», отдаляется от других людей, не может больше разделять их заблуждений. Он чудовище — такой я и есть.

* * *

Максим Растейль: голгофа переселенцев 1848 г. Мондови —

Вставить историю Мондови? Напр.: 1) могила, возвращение и [][185] в Мондови

1-бис. Мондови в 1848–1913.

---

[185] Примечания: 185

[1] Неразборчивое слово.

* * *

Его испанские черты:

умеренность и чувственность, энергичность и nada[186].

* * *

Ж.: «Никто не может представить себе, какую муку я выдержал… Люди оказывают почести тем, кто совершил нечто великое. Но следовало бы еще больше чтить тех, кто, вопреки своей натуре, сумел удержаться от совершения великих преступлений. Да, чтите меня».

* * *

Разговор с лейтенантом-десантником:

— Красиво рассуждаешь! Посмотрим, как ты сейчас заговоришь там, за стеной. Пошли!

— Ну, что ж, хочу только кое о чем вас предупредить, потому что вы, кажется, еще не сталкивались с настоящими мужчинами. Слушайте внимательно. Я буду считать ответственным вас лично за то, что произойдет, как вы изволили

---

[186] Примечания: 186

[2] Ничто *(исп.)*.

выразиться, за стеной. Если я не сломаюсь, считайте, что вам повезло. Я просто публично плюну вам в лицо, когда это станет возможно. Но если я сломаюсь и мне удастся отсюда выбраться, то будь то через год или через 20 лет — я вас убью, вас лично.

— Займитесь им, — сказал лейтенант, — много из себя строит[187].

* * *

Друг Ж. убивает себя, «чтобы Европа стала возможна». Чтобы сделать Европу, нужна добровольная жертва.

* * *

У Ж. четыре женщины сразу, поэтому его жизнь пуста.

* * *

К.С: когда на душу обрушивается слишком большое горе, появляется аппетит к страданию, который…

---

[187] Примечания: 187

[a] (он встречает его без оружия и [провоцирует] поединок).

* * *

Ср.: История движения «Комба».

* * *

Шатт умирает в больнице, в то время как радиоприемник его соседа передает всякую чушь.

— Сердечная болезнь. Ходячий труп. «Если бы я покончил с собой, то инициатива, по крайней мере, исходила бы от меня».

* * *

«Только ты одна будешь знать, что я покончил с собой. Тебе известны мои взгляды. Я ненавидел самоубийство. Из-за того, что оно причиняет *другим*. Если уж хочешь покончить с собой, то надо это как-то замаскировать. Из великодушия. Почему я тебе это говорю? Потому что ты любишь несчастья. Я делаю тебе подарок. Приятного аппетита!»

* * *

Ж.: Жизнь, обновленная и бьющая через край, разнообразие людей и переживаний, способность

к обновлению и к [порыву] (Лопе)

* * *

Конец. Она протянула к нему руки с узловатыми пальцами и погладила по лицу. «Ты лучше всех». Столько любви и обожания было в ее темных глазах (под чуть набрякшими веками), что кто-то в нем — тот, который знал, — восставал против этого… Через миг он обнял ее. Если она, самая прозорливая, любит его, значит, он должен принять ее любовь, а для этого должен хоть немного любить себя сам…

* * *

Тема Музиля: поиски спасения духа в современном мире — Д… [Встречи] и разрыв в «Бесах».

* * *

Пытка. Палач из солидарности. Я никогда не мог сблизиться ни с одним человеком — теперь мы рядом, плечо к плечу.

* * *

Состояние веры: чистое чувство.

* * *

Книга *должна быть* незаконченной. Напр.: «И на пароходе, увозившем его во Францию…»

* * *

Ревнуя, он скрывает это и изображает светского человека. А потом перестает ревновать.

* * *

В сорок лет он осознаёт, что ему необходим кто-то, кто указывал бы ему путь, хвалил бы его или порицал: отец. Авторитет, а не власть.

* * *

N видит, как какой-то террорист стреляет в… Потом слышит, как тот бежит сзади по темной улице. N останавливается, внезапно оборачивается и сбивает его подножкой, револьвер падает. Он завладевает оружием, держит того на мушке, потом понимает, что не может его выдать, отводит на глухую улицу, велит бежать и стреляет.

* * *

Молодая актриса в лагере: стебелек травы, первая травинка посреди шлака и острое чувство счастья. Жалкое и радостное. Потом она влюбляется в Жака — потому что он *чист*. Я? Но я [не заслуживаю] твоей любви. Неважно. Люди, которые [внушают] любовь, даже падшие, это короли мира и его оправдание.

* * *

28 ноября 1885 г. в Улед-Файе родился К. Люсьен: отец К. Батист (43 года), мать Кормери Мари (33 года). В 1909 г. (13 ноября) вступил в брак с мадемуазель Сентес Катрин (рожденной 5 ноября 1882 г.). Скончался в Сен-Бриё 11 октября 1914 г.

* * *

В 45 лет, сопоставляя даты, он обнаруживает, что его брат родился через два месяца после свадьбы? Но ведь дядя, описывая ему церемонию бракосочетания, говорил о длинном платье в талию…

* * *

Врач, который принимает у нее ребенка в новом доме, где сдвинута вся мебель.

* * *

Она уезжает в *июле 14-го* с ребенком, опухшим от укусов москитов. Август, мобилизация. Муж отправляется прямо в столицу в свою [часть]. Однажды вечером он ненадолго вырывается, чтобы поцеловать детей. Больше они его не увидят до известия о его гибели.

* * *

Колонист, которого высылают, выкорчевывает свои виноградники, пускает на поля отведенный поток соленой воды… «Коль скоро все, что мы здесь сделали, преступление, то надо его искоренить…»

* * *

Мама (по поводу N): в тот день, когда тебя «премировали» — «когда тебе дали награду»

* * *

Квиклинский и аскетическая любовь.

* * *

Его удивляет, что Марсель, которая недавно стала его любовницей, не интересуется трагедией страны. «Идем», — говорит она. Она открывает дверь: ее сын девяти лет — при рождении его извлекали щипцами, повредили двигательные нервы, он парализован, не умеет говорить, левая часть лица *выше* правой, его кормят с ложечки, моют и т. д. Он закрывает дверь.

* * *

Он знает, что у него рак, но никому не говорит, что знает. И все думают, будто они ловко ломают комедию.

* * *

1-я часть: Алжир, Мондови. Он встречает араба, который рассказывает ему об отце. Его отношения с арабскими рабочими.

* * *

Ж. Дуэ: «Л’Эклюз».

* * *

Смерть Бераля на войне.

* * *

Крик плачущей Ф., когда она узнает о его связи с И.: «Но я ведь тоже красивая!» И крик И.: «О, пусть кто-нибудь придет и унесет меня отсюда!»

* * *

Потом, спустя много лет после трагедии, Ф. и М. встречаются.

* * *

Христос не посетил Алжир.

* * *

Первое письмо от нее и его чувство при виде своего имени, написанного ее рукой.

* * *

В идеале, если бы книга была обращена к матери от начала до конца и только в конце выяснилось бы, что она не умеет читать, — да, это было бы то, что надо.

* * *

Больше всего на свете ему хотелось, чтобы мать прочла то, что было его жизнью, его плотью и кровью, но это было невозможно. Его любовь, его единственная любовь навсегда обречена на немоту.

* * *

Спасти эту бедную семью от общей судьбы бедняков, состоящей в том, чтобы исчезнуть из истории, не оставив следов. Немые.

Они были и есть выше меня.

* * *

Начать с ночи рождения. Гл. I, потом гл. II: 35 лет спустя он выходит из поезда в Сен-Бриё.

* * *

Гр.[188], которого я признал отцом, родился там, где погиб мой настоящий отец, где находится его могила.

* * *

Пьер с Мари. Ему не удается овладеть ею быстро: *поэтому* он влюбляется в нее. Напротив, Ж. с Джессикой счастлив сразу. Поэтому проходит время, прежде чем он начинает любить ее по-настоящему — ее тело заслоняет ее от него.

* * *

Катафалк на высоких плато [Фигари].

* * *

История немецкого офицера и ребенка: нет смысла за него умирать.

---

[188] Примечания: 188

[1] Гренье.

* * *

Страницы словаря Кийе: их запах, полки.

* * *

Запахи бочарной мастерской: у стружек запах более [][189], чем у опилок.

* * *

Жан, его постоянная неудовлетворенность.

* * *

Он уходит из дому *подростком*, чтобы *спать одному*.

* * *

Открытие религии в Италии: через искусство.

* * *

Конец гл. I: в это время Европа уже готовила свои пушки. Они выстрелили через полгода. Мать

---

[189] Примечания: 189

[1] Неразборчивое слово.

приезжает в столицу, держа за руку четырехлетнего ребенка, другого несет на руках: младший весь опух от москитных укусов. Они являются к бабке, живущей в трехкомнатной квартире в бедном квартале. Бабка, прямая, со светлыми суровыми глазами, смотрит на нее: «Придется работать, дочка».

* * *

Мама: как неученый Мышкин. Она ничего не знает о жизни Христа, кроме распятия. Но кто из людей ближе к нему, чем она?

* * *

Утром, во дворе провинциальной гостиницы, в ожидании М. Ощущение счастья, которое могло вызвать в нем только нечто временное, недозволенное — поскольку недозволенность заведомо исключала длительность этого счастья, и даже часто отравляла его, кроме тех редких случаев, когда оно, как сейчас, возникало неомраченным, в легком утреннем свете, среди далий, еще блестящих от росы…

* * *

История *XX*.

Она приходит, бравирует, «я свободна», и т. д., изображает женщину без предрассудков. Потом раздевается, ложится в постель, делает все, чтобы… в результате плохой [][190]. Несчастен.

Она бросает мужа — он в отчаянии и т. д. Муж пишет ему: «Это вы во всем виноваты. Продолжайте видеться с ней, иначе она покончит с собой». На самом деле, крах предопределен: стремление к абсолюту, попытки достичь невозможного — в общем, она кончает с собой. Приходит муж. «Вы знаете, что меня к вам привело». — «Да». — «Выбор за вами: или я вас убью, или вы меня». — «Нет, пусть тяжесть выбора ложится на вас». — «Тогда убейте меня». В сущности, это вариант тупиковый, когда жертва на самом деде невиновна. Хотя [разумеется] она виновна в других вещах, за которые ей расплачиваться не приходится. Нелепость.

---

[190] Примечания: 190

[1] Неразборчивое слово.

* * *

XX. В ней живет дух разрушения и смерти. Она [предназначена] Богу.

* * *

Натурист: вечная подозрительность в отношении к пище, воздуху и т. д.

* * *

В оккупированной Германии. Добрый вечер, герр офицер.

Добрый вечер, отвечает Ж., закрывая дверь. Он сам удивляется своему тону. И вдруг понимает, что у победителей часто бывает такой топ, потому что им неловко чувствовать себя завоевателями и оккупантами.

* * *

Ж. хочет не быть. То, что он делает, теряет свое имя и т. д.

* * *

Персонаж: Николь Ламираль.

* * *

«Африканская печаль» отца.

* * *

Конец. Везет сына в Сен-Бриё. Стоят на маленькой площади друг перед другом. Как ты живешь? — спрашивает сын. Что? Да, кто ты, и т. д. [Счастливый], он чувствует, как вокруг него сгущается тень смерти.

* * *

В. В. Мы, люди этой эпохи, этого города, этой страны, крепко обнялись, потом оттолкнули друг друга, снова обнялись и наконец расстались. Но все это время мы помогали друг другу жить, сохраняя чудесное согласие между собой, свойственное тем, кому приходится вместе бороться и страдать. О, это и есть любовь — любовь ко всем.

* * *

Всю жизнь он заказывал в ресторанах мясо с кровью и в сорок лет вдруг понял, что на самом деле любит мясо хорошо прожаренное и без крови.

* * *

Освободиться от всякой заботы об искусстве и форме. Вновь ощутить сиюминутный живой ток происходящего, то есть заново обрести невинность. Забыть искусство значит в этом случае *забыть себя*. Отказаться от себя, но не во имя добродетели. Наоборот, принять свой ад. Кто хочет стать лучше, тот дорожит собой, кто хочет наслаждаться, тот дорожит собой. Только человек, принимающий вес, что ему выпало, со всеми последствиями, отказывается от себя, от своего «я». И только он соприкасается с жизнью непосредственно.

Вновь обрести величие греков или великих русских через эту невинность второго уровня. Не бояться. Ничего не бояться… Но кто придет мне на помощь!

* * *

В тот день, по дороге из Граса в Кан, в состоянии невероятного внутреннего возбуждения он внезапно понимает после стольких лет связи, что любит Джессику, что он наконец любит, и весь мир вдруг кажется ему погруженным в тень рядом с ней.

* * *

Я не участвовал в том, что говорил или писал. Это не я женился, не я стал отцом… и т. д. …

* * *

Многочисленные списки беспризорных *детей, найденных* при колонизации Алжира. Да. Мы все здесь найденыши.

* * *

Утренний трамвай из Белькура до Губернаторской площади. Передняя площадка — вагоновожатый и его рычаги.

* * *

Я расскажу историю о чудовище.
История, которую я собираюсь рассказать…

* * *

Мама и история: Ей сообщают про спутник: «О, мне бы не хотелось оказаться там!»

* * *

Глава *с обратным движением*. Заложники в кабильской деревне. Оскопленный солдат — прочесывание и т. д. И так постепенно — до первого выстрела колонистов. Но зачем на этом останавливаться? Каин убил Авеля. Вопрос: отдельная глава или сквозная тема?

* * *

Растейль: колонист с большими усами и седеющими бакенбардами.

Его отец: плотник из предместья Сен-Дени; мать — прачка.

Все колонисты — парижане (многие — с баррикад 1848 года). В Париже безработица. Учреди-

тельное собрание проголосовало за выделение 50 миллионов для отправки переселенцев в колонию.

Каждому переселенцу:

жилье от 2 до 10 гектаров

семена, культуры и т. д.

Рацион продовольствия.

Железной дороги не было (она шла только до Лиона). Дальше по воде — на баржах, которые тянули лошади. «Марсельеза», «Песнь уходящих в бой», благословения священников, знамя для Мондови.

6 барж, от 100 до 150 м каждая. Спали на соломенных тюфяках. Женщины, чтобы переодеться, по очереди загораживали друг друга простынями.

Путешествие длилось около месяца.

* * *

В Марселе — неделя карантина в большом лазарете (1500 человек). Потом их погрузили на старый колесный пароход: «Лабрадор». Отплытие во время мистраля. Пять дней и пять ночей качки, у всех морская болезнь.

Бон — все население встречает переселенцев на пристани.

Багаж был свален в трюмы, чьи-то вещи пропали.

Из Бона в Мондови (на армейских повозках, мужчины — пешком, чтобы женщинам и детям было свободнее) *без дороги.* Напрямик, через болотистую равнину и колючие заросли, под враждебными взглядами арабов, сопровождаемые почти на всем пути сворами воющих кабильских собак — 8.XII.48[191]. Мондови еще не существовало, там были только солдатские палатки. Женщины плакали в темноте 8 дней алжирский ливень стучал по палаткам, вади вышли из берегов. Дети справляли нужду прямо в палатках. Плотник строит временные навесы и натягивает на них простыни — чтобы хранить вещи. Резали на берегах Сейбуза полый тростник, чтобы дети через него мочились наружу.

4 месяца в палатках, потом — временные дощатые бараки; в каждом бараке с двумя отсеками размещалось по шесть семей.

Весна сорок девятого: раннее начало жары. В бараках нечем дышать. Малярия, потом холера. Восемь-десять смертей в день. Умирает дочь плотника — Опостина, потом жена. И брат жены

---

[191] Примечания: 191

[1] Обведено автором.

(их хоронят в залежах туфа).

Предписание врачей: *Пляшите*, чтобы разогреть кровь.

И они пляшут по ночам, между похоронами, под скрипку.

Землю начали раздавать только в 1851 г. Отец умирает. Розина и Эжен остаются одни.

Чтобы пойти постирать белье в Сейбузе, требовалась военная охрана.

Солдаты сооружают укрепления + рвы. Дома Они строят сами и сажают сады.

Вокруг деревни бродят львы (нумидийский лев с черной гривой). Шакалы. Кабаны. Гиена. Пантера.

Нападения на деревню. Кражи скота. Между Боном и Мондови увязла телега. Люди пошли за подмогой, оставив молодую беременную женщину. Вернувшись, нашли ее со вспоротым животом и отрезанными грудями.

Первая церковь, голые стены из необожженного кирпича, стульев нет, несколько скамей.

Первая школа: шалаш из бруса и сухих веток. Три сестры.

Земля: разрозненные участки, люди пашут с ружьем за спиной. Вечером возвращаются в деревню.

Июнь 51: восстание. Сотни всадников в бурнусах окружают деревню. Жители выставляют из-за укреплений печные трубы, изображая пушки.

* * *

Парижане в поле: многие пашут в шапокляках, их жены — в шелковых платьях.

* * *

Запрещается курить сигареты. Разрешена только трубка с крышкой. (Из-за пожаров.)

* * *

Дома построены в *54-м*.

* * *

В департаменте Константины две трети переселенцев умерли, так и не взяв в руки ни кирки, ни плуга.

Старое кладбище переселенцев, великое забвение[192].

---

[192] Примечания: 192

[1] «Великое забвение» обведено автором.

* * *

Мама. Правда состоит в том, что, несмотря на всю свою любовь, я не мог жить по законам этого слепого терпения, без слов, без планов. Я не мог жить ее невежественной жизнью. И я колесил по свету, строил, создавал, дотла сжигал души. Дни мои были заполнены до предела — но ничто так не переполняло мне сердце, как…

* * *

Он понимал, что снова уедет, опять начнет обманывать себя, забудет то, что узнал. А узнал он, что истина его жизни здесь, в этой комнате… Он, конечно, убежит от этой истины. Кто может жить со своей истиной? Но достаточно знать, что она здесь, достаточно наконец понять ее, чтобы она незаметно питала сокровенный незримый [жар] перед лицом смерти.

* * *

Мамина вера к концу жизни. Несчастная женщина, бедная, невежественная [][193] — пока-

---

[193] Примечания: 193

[2] Неразборчивое слово.

зывать ей спутник? Да пребудет с ней крестная сила!

* * *

В 72-м, когда приезжают родители отца, они оказываются наследниками

— Коммуны,

— арабского восстания 71 года (первым убитым в Митидже был школьный учитель).

Эльзасцы заняли земли *повстанцев*.

* * *

Масштабы эпохи

* * *

Невежество матери — лейтмотив ко всем [][194] истории и мира.

Бир-Хакейм: «это далеко» или «там».

Ее религия — чисто зрительная. Она знает то, что видела, не умея объяснить, Иисус — это страдание, он падает, и т. д.

---

[194] Примечания: 194

[1] Неразборчивое слово.

* * *

Участница борьбы.

* * *

Написать свой [][195], чтобы вернуться к правде.

1-я часть Кочевники

1) Рождение во время переезда. Через полгода после войны[196]. Ребенок. Город Алжир, отец в форме зуава и в канотье идет в атаку.

2) 40 лет спустя. Сын стоит перед отцом на кладбище в Сен-Бриё. Он едет в Алжир.

3) Приезд в Алжир как раз к «событиям». Поиски.

Поездка в Мондови. Он находит детство, но не отца.

Узнаёт, что он первый человек[197].

2-я часть Первый человек

---

[195] Примечания: 195

[2] Два неразборчивых слова.

[196] Примечания: 196

[a] Мондови в 48-м.

[197] Примечания: 197

[a] Маонцы в 1850-м, эльзасцы 72–73–14.

Отрочество: Удар кулаком

Спорт и мораль

Зрелость: (Политическая борьба (Алжир), Сопротивление)

3-я часть Мать

Любовь.

Царство: старый товарищ по спорту, старый друг, Пьер, старый учитель и история двух попыток политической борьбы.

Мать[198]

В последней части Жак объясняет матери арабский вопрос, креольскую цивилизацию, судьбу Запада. «Да, — говорит она, — да». Потом полная исповедь и конец.

* * *

В этом человеке была некая тайна, тайна, в которую он хотел проникнуть.

Но выясняется, что это просто тайна нищеты, порождающей людей без имени и без прошлого.

---

[198] Примечания: 198

[1] Весь этот абзац обведен автором.

* * *

Юность на пляжах. Заканчивается день, полный бешеного напряжения, криков, солнца, глухого или неистового желания. На море опускается вечер. Высоко в небе кричит стриж. И тревога стискивает сердце.

* * *

В конце концов он берет за образец Эмпедокла. Философ [][199], который живет один.

* * *

Я хочу, чтобы это была история мужчины и женщины, связанных кровными узами и различных во всем. В ней — все лучшее, что есть на земле, он — спокойное чудовище. Он вовлечен во все безумства нашей истории; для нее наша история такая же, как во все времена. Она чаще всего молчит или обходится горсткой слов; он говорит непрерывно и бессилен передать словами то, что таится в ее молчании… Мать и сын.

---

[199] Примечания: 199

[1] Неразборчивое слово.

* * *

Свобода избрать любой тон.

* * *

Жак, который до сих пор чувствовал себя солидарным со всеми жертвами, вдруг осознает, что он солидарен и с палачами. Его горечь. Определение.

* * *

Следовало бы стать зрителем собственной жизни. Чтобы, грезя над ней, придать ей законченность: но мы живем, а другие грезят над нашей жизнью.

* * *

Он смотрел на нее. Все остановилось, и время шло с тихим потрескиванием. Как в кино, когда из-за каких-то неполадок изображение вдруг исчезает, и в темноте зала слышно только, как работает аппарат… при пустом экране.

* * *

Ожерелья из жасмина, которыми торгуют арабы. Гирлянды благоухающих желто-белых цветов [][200]. Гирлянды вянут быстро [][201], цветы желтеют [][202], но запах еще долго стоит в бедной комнате.

* * *

Майские дни в Париже, когда повсюду раскинут в воздухе белый невод из цветов каштана.

* * *

Он любил свою мать и своего ребенка — то, что ему не дано было выбирать. В сущности, он, который все оспаривал, все ставил под сомнение, любил только неизбежное. Людей, данных ему судьбой, мир, такой, каким он предстал перед ним, все, от чего невозможно было уй-

---

[200] Примечания: 200

[1] Шесть неразборчивых слов.

[201] Примечания: 201

[2] Два неразборчивых слова.

[202] Примечания: 202

[3] Два неразборчивых слова.

ти — болезнь, призвание, славу или бедность, свою звезду, наконец. Все остальное, все, что ему приходилось выбирать самому, он заставлял себя любить, а это не одно и то же. Конечно, ему доводилось испытывать восхищение, страсть, были даже мгновения нежности. Но каждое такое мгновение толкало его к другим мгновениям, каждый человек — к другим людям, и в итоге он не любил ничего, что выбрал сам, а только то, что незаметно пришло к нему в силу обстоятельств, что удержалось в его жизни не только по его воле, но и по воле случая, и стало в конце концов необходимостью: Джессика. Настоящая любовь — это не выбор и не свобода. Несвободно само наше сердце. Любовь есть неизбежность и признание неизбежности. И, действительно, он любил всем сердцем только неизбежное. Теперь ему осталось полюбить собственную смерть.

* * *

[203] Завтра шестьсот миллионов желтых, миллиарды желтых, черных, смуглых нахлынут на мыс Европы… И в лучшем случае [обратят ее в свою веру]. И тогда все, чему учили его и ему

[203] Примечания: 203

[a] Это снится ему во время сиесты.

подобных, все, что он узнал сам, как и люди его расы, все ценности, ради которых он жил, отомрут за ненадобностью. Что сохранит тогда свою цену?.. Молчание его матери. *Перед ней он слагал оружие.*

* * *

М. 19 лет. Ему было тридцать, и они тогда не знали друг друга. Он понимает, что невозможно вернуться в прошлое и в этом прошлом помешать любимому существу быть, совершать поступки, подвергаться чужим действиям; мы не владеем ничем из того, что выбираем. Потому что выбор должен был бы совершаться с первым криком при рождении, но каждый рождается в одиночку — связанный лишь с матерью. Нам принадлежит только неизбежное и надо к нему вернуться, и (см. предыдущую запись) покориться этому Но как все-таки грустно и как жаль!

Надо отступиться. Нет, научиться любить запятнанное.

* * *

В конце он просит у матери прощения. — За что? Ты всегда был хорошим сыном. — За все

остальное, чего она не могла знать и даже вообразить []{1}[204] и что только она одна могла простить (?)

* * *

Поскольку я все перетасовал, показать Джессику сначала немолодой и только потом юной.

* * *

Он берет в жены М., потому что она до него не знала мужчин и это привлекает его. По сути, он женится на ней из-за своих недостатков. Потом он научится любить женщин, которые уже принадлежали другим, — т. е. любить ужасный и неизбежный закон жизни.

* * *

Глава о войне 14-го года, из которой вышла наша эпоха. Глазами матери? Она не знает ни Франции, ни Европы, ни мира. Считает, что осколки снарядов — это такое отдельное оружие и т. д.

---

[204] Примечания: 204

[1] Неразборчивое слово.

* * *

Вставить главы, где будет звучать голос матери. Описание тех же событий, но с помощью словарного запаса в 400 слов.

* * *

В сущности, я собираюсь рассказывать о тех, кого люблю. И только об этом. Глубокое счастье.

* * *

[205] Саддок:

1) — Но зачем тебе так жениться, Саддок?

— По-твоему, я должен жениться по французским правилам?

— По французским или по каким угодно! Но зачем подчиняться обычаю, который ты считаешь нелепым и жестоким[206]?

— Затем, что мой народ отождествляет себя с этим обычаем, больше у него ничего нет, он

---

[205] Примечания: 205

[a] Все это в [условном] нереалистическом стиле.

[206] Примечания: 206

[b] Французы правы, но их разум нас подавляет. Поэтому я выбираю арабское безумие, безумие угнетенных.

слился с ним, и отказаться от этой традиции значит отказаться от моего народа. Поэтому я войду завтра в спальню, раздену эту незнакомку и изнасилую ее под грохот стрельбы.

— Хорошо. А пока пойдем купаться.

2) — Ну, что?

— Они говорят, что сейчас нужно укреплять антифашистский фронт, что Франция и Россия должны защищаться вместе.

— А они не могут защищаться, установив у себя справедливость?

— Они говорят, что справедливость будет потом, что с этим надо подождать.

— Справедливость не может ждать, и ты это знаешь.

— Они говорят, что если вы не захотите ждать, то объективно сыграете на руку фашизму.

— И потому тюрьма — лучшее место для ваших бывших товарищей.

— Они говорят, что им очень жаль, но иначе сейчас невозможно.

— Они говорят, они говорят… А ты молчишь.

— Да, молчу.

Он посмотрел на него. Уже становилось жарко.

— Значит, ты меня предаешь?

Он не сказал: «нас предаешь», и был прав, пото-

му что предательство затрагивает живую плоть, человека в единственном числе, и т. д.

— Нет. Я сегодня выхожу из партии…

3) — Вспомни 1936 год.

— Я занимаюсь терроризмом не на стороне коммунистов. А против Франции.

— Я француз. Она тоже.

— Знаю. Ничего не поделаешь.

— Значит, ты меня предаешь.

Глаза Саддока блестели каким-то горячечным блеском.

* * *

Если я в конце концов выберу хронологический порядок, то мадам Жак или доктор будут потомками первых колонистов Мондови.

Не будем жаловаться, говорит доктор, представьте себе на минуту, как наши прародители… и т. д.

* * *

4) — Отец Жака убит на Марне. Что осталось от этой безвестной жизни? Ничего, неосязаемое воспоминание — легкий пепел крыльев мотылька,

сгоревшего в лесном пожаре.

* * *

Два алжирских национализма. Алжир между 39-м и 54-м годом (восстание). Что происходит с французскими ценностями в сознании алжирца, в сознании первого человека. Хроника двух поколений проливает свет на сегодняшнюю трагедию.

* * *

Летний лагерь в Милиане, утром и вечером в казарме сигналы рожка.

* * *

Любовь: ему хотелось, чтобы они не имели до него ни мужчин, ни прошлого. И единственной такой женщине, которую он нашел, он посвятил свою жизнь, но сам никогда не мог быть ей верен. В общем, он хотел, чтобы женщины были такими, каким он не был сам. А его собственная натура толкала его к иным женщинам, похожим на него, которых он любил и овладевал ими яростно и страстно.

* * *

Отрочество. Его жизненная сила, вера в жизнь. Но он харкает кровью. Неужели жизнь — это больница, смерть, одиночество, весь этот абсурд? Отсюда разбросанность. Но в глубине души: нет, нет, жизнь — это другое.

* * *

Озарение по дороге из Кана в Грас…

И он знал теперь, что, даже если в душе его вновь воцарится прежняя сушь, он вечно будет благодарен всем сердцем, всем своим существом за то, что ему однажды, быть может, только однажды, но все же дано было…

* * *

Начать последнюю часть такой картиной: слепой осел из года в год терпеливо ходит вокруг водокачки, вращая колесо, терпит побои, жестокий климат, солнце, мух, терпит и терпит, и благодаря этому нескончаемому круговому движению, с виду бесплодному, мучительному и однообразному, из-под земли непрерывно бьет

струя воды…

* * *

1905. Война в Марокко Л.К.[207] А на другом конце Европы — Каляев.

* * *

Жизнь Л. К. Вся целиком подневольная, за исключением его воли быть и выстоять. Сиротский приют. Сельскохозяйственный рабочий, вынужденный жениться. Вся его жизнь складывается вопреки его воле — а потом война его убивает.

* * *

Он приходит к Гренье: «Такие люди, как я, должны повиноваться, я это понял. Они нуждаются в принудительном соблюдении неких правил. Религия, любовь и т. п. — это для меня невозможно. Поэтому я решил повиноваться вам». Что из этого получается (новелла).

---

[207] Примечания: 207

[1] Вероятно, Люсьен Камю, отец.

* * *

В общем, он так и не знает, кто его отец. Но кто же он сам? 2-я часть.

* * *

Немое кино, он читает бабушке титры.

* * *

Нет, я вовсе не хороший сын: хороший сын тот, кто остается. А я скитался по свету, изменял ей ради честолюбия, славы, бесчисленных женщин.

— Но ты любил только ее?

— Ах! Я любил только ее?

* * *

Когда у могилы отца он чувствует, что ход времени нарушается, это и есть смещенное время книги.

* * *

Он человек излишеств: женщины и т. п. И вот [чрезмерность] в нем наказана. Отныне он знает.

* * *

Тревога, которую вызывают в Африке сумерки, когда ночь стремительно опускается на море, на высокие плато или на вздыбленные горы. Это священная тревога, трепет перед вечностью. Тот же самый, который некогда в Дельфах заставлял людей воздвигать храмы. Но в Африке храмы разрушены, есть лишь эта нестерпимая тяжесть на сердце. Как они умирают! Молча, отвернувшись от всего.

* * *

Они не любили в нем алжирца.

* * *

Его отношение к деньгам. Связанное отчасти с бедностью (он ничего не покупал себе), а с другой стороны — с гордостью: он никогда не торговался.

* * *

Исповедь перед матерью в конце.

«Ты не понимаешь меня, и все-таки ты един-

ственная, кто может меня простить. Множество людей предлагали мне свое прощение. Другие — их тоже было много — кричали на все лады, что я виновен, но я не чувствую себя виновным, когда они так говорят. Есть и такие, которые вправе сказать мне это, и я знаю, что мне следовало бы получить их прощение. Но прощения просят у тех, кто способен простить. Просто простить, а не требовать, чтобы ты заслужил прощение, подождал. Пойти к ним, все сказать и получить прощение. Но те, у кого я должен был бы его просить, где-то в глубине души, несмотря на всю свою добрую волю, не могут и не умеют прощать. Только один человек на свете мог меня простить, но я никогда не был перед ним виноват, я отдал ему все свое сердце, и все-таки я мог бы пойти к нему, в душе я часто это делал, но он умер, и я одинок. Ты одна можешь простить, но ты не понимаешь меня и не умеешь читать. Поэтому я говорю с тобой, пишу для тебя, для тебя одной, а когда подойду к концу, я попрошу прощения без всяких объяснений, и ты мне улыбнешься…

* * *

Убегая из подпольной редакции, Жак убивает преследователя (лицо его исказила гримаса, он

зашатался, наклонился вперед. И Жак вдруг почувствовал, как в нем поднимается неистовая ярость: он ударил его еще раз снизу, в [горло], из огромной дыры у основания шеи забила ключом кровь; потом, обезумев от отвращения и ярости, он ударил его еще [][208], прямо в глаза, не глядя, куда бьет…)… потом он идет к Ванде.

* * *

Крестьянин-бербер, нищий и невежественный. Колонист. Солдат Белый без земли. (Это их он любил, а не метисов в желтых остроносых туфлях и шейных платках, которые переняли у Запада все самое худшее.)

* * *

Конец.

Верните землю, землю, которая не принадлежит никому. Верните землю, которая не продается и не покупается (да, Христос не посетил Алжир, потому что здесь даже монахи имели собственность и концессии).

И он воскликнул, посмотрев на мать, потом на

---

[208] Примечания: 208

[1] Четыре неразборчивых слова.

остальных: Верните землю. Отдайте всю землю беднякам, тем, у кого ничего нет и кто так беден, что даже никогда не стремился ничем владеть, всей этой огромной толпе нищих, где преобладают арабы, но есть и французы, которые живут или выживают в этой стране упрямо и терпеливо, храня единственную подлинную честь в этом мире, честь бедняков. Дайте им землю, как дают святое святым, и тогда я, снова почувствовав себя бедняком, улыбнусь в своем изгнании на краю света и умру счастливым, зная, что наконец соединились под солнцем моего рождения земля, которую я так любил, и все те и та, кого я чтил.

(Тогда великая безымянность станет плодотворной, она примет и меня — и я вернусь в эту страну.)

* * *

Восстание. Ср. «Завтра в Алжире», стр. 48, Ж. Сервье.

Молодые политические комиссары из ФНО называли себя Тарзанами.

Да, я командую, убиваю, живу в горах, под дождем и солнцем. Что ты можешь мне предложить лучше: чернорабочий в Бетюне?

Мать Саддока, ср. стр. 115.

* * *

Перед лицом… на самой древней земле мира мы — первые люди — не люди упадка, как кричат в [][209] газетах, а люди робкой и новой зари.

* * *

Мы дети без Бога и без отца, и наставники, которых нам предлагали, были нам противны. Мы жили без высшего закона. — Гордость.

* * *

Так называемый скептицизм новых поколений — ложь.

С каких пор честный человек, отказывающийся верить лжецу, называется скептиком?

* * *

Высота писательского ремесла в сопротивлении гнету и, следовательно, в согласии на одиночество.

---

[209] Примечания: 209

[1] Неразборчивое слово.

* * *

То, что помогло мне выдержать превратности судьбы, поможет мне, наверно, принять и ее чрезмерную милость. А поддерживало меня главным образом высокое, очень высокое представление об искусстве.

Не потому, что искусство для меня превыше всего, а потому, что оно ни от кого не отгораживается.

* * *

За исключением [античности]

Писатели начали с рабства.

Они завоевали себе свободу — речь не идет о [][210]

* * *

К.Х.: Все, что раздуто, ничтожно. Но месье К.Х. был ничтожным и прежде. Ему захотелось присовокупить одно к другому.

---

[210] Примечания: 210

[1] Четыре неразборчивых слова.

Два письма

19 ноября 1957

Дорогой месье Жермен,

я дал немного улечься шуму, который окружал меня в последние дни, чтобы поговорить с Вами от души. Мне оказали слишком высокую честь, которой я не добивался и не искал. Но когда я узнал об этом, то первая моя мысль, после матери, была о Вас. Без Вас, без Вашей доброй руки, которую вы протянули когда-то нищему мальчишке, без Ваших уроков и Вашего примера, ничего бы этого не произошло. Я не преувеличиваю значение успехов такого рода. Я просто пользуюсь случаем сказать Вам, чем Вы были и что Вы есть для меня, и еще раз напомнить, что Ваши усилия, Ваша работа и Ваша душевная щедрость по-прежнему живы для одного из маленьких школьников, который, несмотря на свой теперешний возраст, остается Вашим благодарным учеником. Крепко обнимаю Вас.

Альбер Камю

* * *

Алжир, 30 апреля 1959

Дорогой мальчик,

я получил посланную тобой книгу «Камю», которую ее автор, месье Ж.–Кл. Брисвиль, имел любезность мне надписать.

Не знаю, как выразить радость, которую ты мне доставил своим трогательным вниманием, и какими словами тебя благодарить. Если бы я мог, я бы крепко обнял этого мальчика, который давно вырос, но всегда останется для меня «моим маленьким Камю».

Книгу я еще не прочел, только заглянул в первые страницы. Кто такой Камю? По-моему, тем, кто пытается разгадать твою личность, это не вполне удается. В тебе всегда была инстинктивная сдержанность, не позволявшая полностью раскрыть себя, свои чувства. При этом ты человек простой и прямой. И к тому же добрый! Я заметил это еще в школе. Педагог, который хочет делать свое дело добросовестно, не упускает случая узнать получше своих учеников, а эти случаи представляются каждую минуту. Ответ, поза, жест бывают чрезвычайно красноречивы. По-

этому я считаю, что хорошо знал симпатичного маленького человечка, каким ты когда-то был, а ведь в ребенке уже угадывается характер взрослого. Тебе нравилось в школе, и это проявлялось во всем. Твое лицо всегда выражало жизнерадостность. Присматриваясь к тебе, я никогда не подозревал о подлинном положении твоей семьи. Я лишь мельком обратил на это внимание, когда твоя мама пришла ко мне по поводу зачисления тебя в список кандидатов на стипендию. Но тогда мы уже должны были вскоре расстаться. А до той поры мне казалось, что ты находишься в равном положении со своими товарищами. У тебя всегда было все, что нужно. И ты, и твой брат были хорошо одеты. Думаю, это самая высокая похвала твоей матери.

Но вернемся к книге месье Брисвиля. В ней много иллюстраций, и я с большим волнением увидел фотографию твоего покойного отца, которого всегда считал «своим товарищем». Месье Брисвиль упоминает и обо мне — хочу его за это поблагодарить.

Я видел список — который становится все длиннее — посвященных тебе работ. И мне очень радостно, что слава (это чистая правда) не вскружила тебе голову. Ты остался Камю: браво!

Я с интересом следил за всеми сложными перипетиями пьесы, которую ты инсценировал и поставил, — «Бесы». Я слишком люблю тебя, чтобы не желать тебе самого большого успеха — такого, какого ты заслуживаешь. Мальро хочет дать тебе театр. Я знаю, это твоя страсть. Но… сможешь ли ты успешно совмещать столько разных дел? Я боюсь, что ты не щадишь свое здоровье. Позволь мне как старому другу напомнить тебе, что у тебя чудесная жена и двое детей, которым нужен муж и папа. Знаешь, что говорил нам директор нашей Нормальной школы? Он был очень, очень строг к нам, и это мешало нам понять, почувствовать, что он *по-настоящему* любил нас. «У природы есть большая книга, — говорил он, — куда она тщательно заносит все ваши излишества». Признаюсь, это мудрое предупреждение не раз удерживало меня, когда я уже готов был об этом забыть. Так что смотри, постарайся сохранить чистой страницу, отведенную тебе в Великой Книге природы.

Андре напоминает мне, что мы видели тебя по телевидению — это была передача о «Бесах». Было очень интересно слушать, как ты отвечаешь на вопросы. И я невольно подумал, не без некоторого лукавства, что ты и не подозреваешь о том, что я

тебя вижу и слышу. Это отчасти компенсировало нам твое отсутствие, ведь мы очень давно тебя не видели…

Прежде чем закончить, хочу поделиться с тобой беспокойством по поводу опасных планов, которые угрожают светскому образованию. Все годы, что я учительствовал, я уважал, как мне кажется, самое священное право ребенка — самому искать свою истину. Я всех вас любил и, по-моему, делал все возможное, чтобы не проявлять своих личных убеждений и не оказывать тем самым давления на детские умы. Когда речь заходила о Боге (это было в программе), я обычно говорил, что некоторые в него верят, некоторые нет. И что каждый имеет полное право свободно принимать решение в этом вопросе. Точно так же, касаясь различных мировых религий, я ограничивался тем, что перечислял все, какие существуют, и говорил, что люди исповедуют из них ту или иную по своему выбору. И, дабы не погрешить против истины, прибавлял, что есть и люди, не исповедующие ни одной из них. Я прекрасно знаю, что это не нравится тем, кто хотел бы превратить учителей в коммивояжеров религии, а точнее, религии *католической*. В Нормальной школе Алжира (она находилась тогда в парке Галлана) мой отец, как

и все его соученики, был *обязан* ходить к мессе и причащаться каждое воскресенье. Однажды, раздраженный этим постоянным принуждением, он сунул «освященную» облатку в молитвенник и захлопнул его! Об этом стало известно директору, и он без малейших колебаний исключил отца. Вот чего хотят сторонники «Свободной школы» («свободной» думать как они). При нынешнем составе Палаты депутатов боюсь, что они своего добьются. Я прочел недавно в «Канар аншене», что в каком-то департаменте во многих школах, которые считаются светскими, в классах висит распятие. Я вижу в этом вопиющее посягательство на свободу совести детей. Во что все это может вылиться? Горько думать об этом.

Дорогой мальчик, я исписал уже четыре страницы, извини, что так злоупотребляю твоим временем. У нас все хорошо. Кристиан, мой внук, начинает завтра 27-й месяц службы!

Помни, даже когда я не пишу, я часто думаю обо всех вас.

Мадам Жермен и я крепко целуем вас всех четверых.

Сердечно ваш

Жермен Луи

Я вспоминаю, как вы пришли ко мне, ты и твои товарищи по классу, после первого причастия. Ты был явно счастлив и горд своим костюмом и своим праздником. Я искренне радовался вашим сияющим лицам, считая, что раз вы принимаете причастие, значит, вы сами этого захотели? Ну что ж…

Информация от издательства

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44
К18

Серия «Эксклюзивная классика»

Albert Camus
LE PREMIER HOMME

Перевод с французского *И.И. Кузнецовой*

Серийное оформление *А.В. Фереза*

Компьютерный дизайн *А.А. Чаругиной*

Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard.

Камю, Альбер.
К18 Первый человек : [роман] / Альбер Камю ; [перевод с французского И. И. Кузнецовой]. — Москва : Издательство АСТ, 2021. — 320 с. — (Эксклюзивная классика).
ISBN 978-5-17-135113-7

4 января 1960 года Альбер Камю погиб в авто-катастрофе. Среди обломков автомобиля была

найдена его дорожная сумка и в ней — черновая версия романа «Первый человек». Через тридцать четыре года после смерти автора книга, подготовленная дочерью писателя Катрин Камю, увидела свет.

Роман, по сути автобиографичный, посвящается матери Камю: «Тебе, которая никогда не сможет прочесть эту книгу», — она действительно не смогла бы прочесть его, потому что была неграмотной.

Герой романа, Жак Кормери, стремясь воскресить воспоминания об отце, погибшем во время Первой мировой войны, приезжает в Алжир, где в нищете прошло его детство, которое он смог пережить благодаря любви молчаливой и неграмотной матери и учителю, изменившему его взгляд на мир. Эта история дает нам представление о том, как сформировалась личность Камю и его взгляды, и ключ к пониманию тем, лежащих в основе его творчества.

УДК 821.133.1-31
ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-17-135113-7

© Editions Gallimard, Paris, 1994
© Перевод. И. И. Кузнецова, 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2021

* * *

Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

Камю Альбер
Первый человек
Роман

Ответственный редактор *Е. Трушечкина*
Художественный редактор *Е. Фрей*
Компьютерная верстка: *Р. Рыдалин*
Технический редактор *Т. Полонская*
Корректор *М. Колесникова*

Подписано в печать 16.02.2021. Формат 76x100 $^{1}/_{32}$.
Печать офсетная. Гарнитура Newton.
Усл. печ. л. 14,07. Тираж экз. Заказ № .

Общероссийский классификатор продукции ОК-034-2014 (КПЕС 2008); 58.11.1 — книги, брошю-

ры печатные

Произведено в Российской Федерации
Изготовлено в 2021 г.
Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»
129085, г. Москва, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, комната 705, пом. I, 7 этаж.
Наш электронный адрес: **www.ast.ru.** Интернет-магазин: **www.book24.ru.**
E-mail: **neoclassic@ast.ru.** ВКонтакте: **www.vk.com/ast_neoclassic.**
Инстаграм: **www.instagram.com/ast_neoclassic.**

Альбер Камю – уникальная личность в истории мировой культуры XX века, писатель, стоявший у истоков французской «экзистенциальной школы».
Проза Камю, не просто балансирующая на грани между литературой и философией, но к литературе и философии в равной степени относящаяся, не подлежит старению – ни моральному, ни стилистическому.

АЛЬБЕР КАМЮ

4 января 1960 года Альбер Камю погиб в автокатастрофе. Среди обломков автомобиля была найдена его дорожная сумка и в ней – черновая версия романа «Первый человек». Через тридцать четыре года после смерти автора книга, подготовленная дочерью писателя Катрин Камю, увидела свет.
Роман, по сути автобиографичный, посвящается матери Камю: «Тебе, которая никогда не сможет прочесть эту книгу», – она действительно не смогла бы прочесть его, потому что была неграмотной.
Герой романа, Жак Кормери, стремясь воскресить воспоминания об отце, погибшем во время Первой мировой войны, приезжает в Алжир, где в нищете прошло его детство, которое он смог пережить благодаря любви молчаливой и неграмотной матери и учителю, изменившему его взгляд на мир. Эта история дает нам представление о том, как сформировалась личность Камю и его взгляды, и ключ к пониманию тем, лежащих в основе его творчества.

ISBN 978-5-17-135113-7

ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК

эксклюзивная классика